

СУД ИДЁТ

Рассказ

Пролог

Когда не хватало сил, я влезал на подоконник, высовывал голову в узкую форточку. Внизу шлепали калоши, детскими голосами кричали кошки. Несколько минут я висел над городом, глотая сырой воздух. Потом спрыгивал на пол и закуривал новую папиросу. Так создавалась эта повесть.

Стука я не расслышал. Двое в штатском стояли на пороге. Скромные и задумчивые, они были похожи друг на друга, как близнецы.

Один осмотрел мои карманы. Листочки, разбросанные по столу, он собрал аккуратно в стопку и, послунявив пальцы, насчитал семь бумажек. Должно быть, для цензуры он провел ладонью по первой странице, сгребая буквы и знаки препинания. Взмах руки — и на голой бумаге сиротливо копошилась лиловая кучка. Молодой человек ссыпал ее в карман пиджака.

Одна буква — кажется, «з», — шевеля хвостиком, быстро поползла прочь. Но ловкий молодой человек поймал ее, оторвал лапки и придавил ногтем.

Второй тем временем заносил в протокол все детали и даже носки выворачивал наизнанку. Мне было стыдно, как на медицинском осмотре.

— Вы меня арестуете?

Двое в штатском застенчиво потупились и не отвечали. Я не чувствовал за собою вины, но понимал, что сверху виднее, и покорно ждал своей участи.

Когда все было кончено, один из них взглянул на часы:

— Вам оказано доверие.

Стена моей комнаты стала светлеть и светлеть. Вот она сделалась совсем прозрачной. Как стекло. И я увидел город.

Подобно коралловым рифам возвышались здания Храмов и Министерств. На шпилях многоэтажных строений росли ордена и бляхи, гербы и позументы. Лепные, литые, резные украшения, сплошь из настоящего золота, покрывали каменные громады. Это был гранит, одетый в кружево, железобетон, разрисованный букетами и вензелями, нержавеющей сталь, обмазанная для красоты кремом. Все говорило о богатстве людей, населяющих Великий Город.

А над домами, среди разодранных облаков, в красных лучах восходящего солнца, я увидел воздетую руку. В этом застывшем над землей кулаке, в этих толстых, налитых кровью пальцах была такая могучая, несокрушимая сила, что меня охватил сладкий трепет восторга. Зажмурился, я упал на колени и услышал голос Хозяина. Он шел прямо с небес и звучал то как гневные раскаты артиллерийских орудий, то как нежное мурлыканье аэропланов. Двое в штатском замерли, вытянув руки по швам.

— Встань, смертный. Не отвращай взора от Божьей десницы. Куда бы ты ни скрылся, куда бы ни запрятался, всюду настигнет она тебя, милосердная и карающая. Смотри!

От парящей в небе руки упала громадная тень. В том направлении, где она пролегла, дома и улицы раздвинулись. Город открылся, как пирог, разрезанный надвое. Виднелась его начинка: комфортабельные квартиры с людьми, спящими попарно и в одиночку. По-младенчески чмокали губами большие волосатые мужчины. Загадочно улыбались во сне их упитанные жены. Равномерное дыхание подымалось к розовеющему небу.

Только один человек не спал в этот утренний час. Он стоял у окна и смотрел на Город.

— Ты узнал его, сочинитель? Это он — твой герой, возлюбленный сын мой и верный слуга — Владимир. Божественный баритон гудел у моего уха.

— Следуй за ним по пятам, не отходи ни на шаг. В минуту опасности телом своим защити! И возвеличь!

Будь пророком моим! Да воссияет свет, и содрогнутся враги от слова, сказанного тобой!

Голос умолк. Но стена моей комнаты оставалась прозрачной, как стекло. И кулак, застывший в небе, висел надо мною. Еще иступленней был его взмах, толстые пальцы побелели от напряжения. А человек стоял у окна, глядя на спящий Город. Вот он застегнул мундир и поднял руку. Она казалась маленькой и слабой рядом с Божьей десницей. Но жест ее был столь же грозен и столь же прекрасен.

Глава I

Гражданин Рабинович С. Я., врач-гинеколог, произвел незаконный аборт. Перелистывая следственные материалы, Владимир Петрович Глобов брезгливо морщился. Работа была закончена, давно рассвело, и вдруг, напоследок, вылезает этот неприличный субъект — в потрепанной папке без номера, с фамилией из анекдота. Для должности городского прокурора — дело незаслуженно мелкое.

Ему уже приходилось как-то обвинять одного Рабиновича, а может быть — двух или трех. Разве их упомнишь? Что по своей мелкобуржуазной природе они враждебны социализму, — понимал теперь каждый школьник. Разумеется, бывали исключения. Илья Эренбург, например. Но зато с другой стороны — Троцкий, Радек, Зиновьев, Каменев, критики-космополиты... Какая-то врожденная склонность к предательству.

В сердце покалывало. Владимир Петрович расстегнул мундир и, скосив глаз, посмотрел на грудь — под левый сосок. Там, рядом с рубцом от кулацкой пули, виднелось синее сердце, пронзенное стрелой. Он погладил давнюю, с юных лет, татуировку. Сердце, проколотое стрелой, истекало бледно-голубой кровью. А другое — приятно ныло от усталости и забот.

Прежде чем отойти ко сну, прокурор постоял у окна, озирая город. Улицы были еще пусты. Но милиционер на перекрестке, как это заведено, точным взмахом руки управлял всем движением. По знаку дирижерской палочки невидимые толпы то застывали, как вкопанные, то стремительно бросались вперед.

Прокурор застегнулся на все пуговицы и поднял руку. Он чувствовал: «С нами Бог!» И думал: «Победа будет за нами».

Дождь тек по лицу. Носки прилипали. Жду не больше пяти минут, — решил Карлинский и, не выдержав, пошел прочь.

— Куда же вы, Юрий Михайлович? Посреди мокрого сквера Марина была неправдоподобно суха.

— Вот они каковы — современные рыцари, — говорила Марина, властно и ласково улыбаясь. — Идите же скорее сюда!

И очертила рядом, под зонтиком, уютное сухое местечко.

— Добрый день, Марина Павловна. Я думал — вы не придете. Уже милиционер стал беспокоиться: не собираюсь ли я взорвать памятник Пушкину, пользуясь ненастной погодой.

Марина смеялась:

— Во-первых, мне надо позвонить по телефону.

Дождь бил в асфальт и отскакивал. Площадь пузырилась и текла. Они бросились через нее, пересекая воду и ветер. Телефонная будка была островом в океане. Юрий незаметно вытер руки о талию своей спутницы.

— От вас пахнет мокрой тряпкой, — возразила Марина. Он не успел обидеться — она уже набрала номер и произнесла: — Хэлло!

— Хэлло, — решительно повторила она певучее заграничное слово. На верхней ноте ее голос капризно затрепетал.

— Володя, это ты? Я плохо тебя слышу. Чтобы лучше слышать, она придвинулась к Юрию. Он чувствовал душистую теплоту ее щеки.

— Говори громче! Что, что? Обедайте без меня. Я вернусь нескоро, поем у подруги.

Трубка беспомощно булькала. Это муж на том конце провода пытался протестовать. Тогда Юрий взял руку Марины и поцеловал. Он прощал ей все обиды — и размякшие от воды штиблеты, и то, что недотрога. Ее голос извивался, как змея.

— Вечером изволь идти на концерт. Без меня. Очень тебя прошу... Объясню после... Что ты говоришь? А-а-а... Я тебя — тоже.

Она предавала его — глупого наивного мужа. Эй ты, прокурор! — издевался Карлинский. — Слышишь? Она говорит «тоже», чтобы не сказать «целую». Это потому, что я! я! стою рядом и трогаю ее ладонь.

— Чему вы так радуетесь? — удивилась Марина, повесив трубку.

А Карлинский, казалось, и в самом деле собирался оправдать ее прогнозы:

— Марина Павловна, давно хотел задать вам один нескромный вопрос.

— Да, пожалуйста, хоть два, — разрешила она заранее усталым голосом.

Ты — дьявол, но я тебя перехитрю, — успел подумать Юрий. И вкрадчивым тоном спросил:

— Марина Павловна, вы верите в коммунизм?.. И еще второй, с вашего разрешения: вы любите мужа?

— Черт, уже прервали! — Владимир Петрович подышал немного в искусственную телефонную тишину. Марина не отзывалась. За стеной Сережа спрягал немецкие глаголы.

— Сергей, поди сюда.

— Ты меня звал, отец?

— Прежде всего, здравствуй.

— Здравствуй, отец.

— Учишься? А я уже наработался. Всю ночь, до утра, как проклятый, сидел... Слушай, составь мне компанию. Выходной день как-никак. Поболтаем, потом на машине прокатимся. Вечером — на концерт махнем. Согласен?

— А Марина Павловна?

— Мать — у подруги. По рукам, что ли?

Сережа не возражал.

— Хочу я спросить, Сергей... В среду, на родительском собрании, много про тебя говорили. Хвалили, как полагается. Ну, а после учитель истории — как его? — Валериан...

— Валериан Валерианович.

— Вот-вот, он самый. Отозвал меня в сторонку и шепчет «Обратите внимание, уважаемый Владимир Петрович. Ваш сын, знаете ли, задает разные неуместные вопросы и вообще — проявляет нездоровый интерес».

Прокурор помолчал и, не дождавшись ответа, как бы между прочим — сказал:

— Ты это, Сергей, насчет баб, что ли, интересуешься?

Нестерпимый розовый свет ослепил Сережу. Будто девушка, — залюбовался Владимир Петрович. Он знал, что Сережа повинен в иного рода грехах, но в воспитательных целях — пусть сам признается — продолжал пытку:

— Да! О женщинах подумать иногда не вредно. Я в твои годы был хоть куда. Можно сказать — первый парень на деревне... Только зачем с преподавателем на такие темы дискутировать? Ты бы меня спросил...

— Да я не об этом вовсе, — взмолился Сережа. — Я совсем про другое спрашивал.

— Про другое?

— Ну, конечно же. По истории — вопросы. По философии тоже. Например, о войнах справедливых и несправедливых.

— О войнах? — удивился Владимир Петрович, все еще делая вид, что ничего не понимает. — Разве ты в будущем году на военную службу собираешься? А институт?

Сереза заторопился. О разных стыдных вещах он и не думал никогда. Учение про войны справедливые и несправедливые создано еще Марксом. Потом его развивал Ленин применительно к новой исторической обстановке. Подтверждая это, Сереза сбегал к себе и принес какие-то тетрадки, исписанные мелким почерком.

— Валериан Валерианович говорит — Ермак вел справедливое покорение Сибири. И восстание Шамиля тоже правильно подавили...

— Да, — размышлял Владимир Петрович. — Без Сибири нам нельзя. И без Кавказа — нельзя. Нефть. Марганец. Народ-то что поет? «На тихом берегу Иртыша сидел Ермак, объятый думой». Слышал?

— Когда англичане Индию, они тоже...

— Ты эти сравнения брось, — заволновался Владимир Петрович. — Англичане нам не указ. Где мы живем? В Англии, что ли?

Он задумался на секунду: Англия, действительно, была ни к чему. Какая Англия?

— Но исторически...

— Исторически, исторически! Ты историю изучай, да о сегодняшнем дне помни. Мы что строим и уже построили? То-то. Значит, в конечном счете, понимаешь — в конечном! — правильно делали наши предки. Справедливо.

Отец был прав. Но и Шамиля жалко. Ведь он не знал, что в России революция произойдет. Хотел свой народ освободить, а после выяснилось — зря старался и даже для социализма вредно.

— А вот Юрий Михайлович по-другому мне объяснял. Все дело, говорит, в том, на чью точку зрения стать. Для одних — справедливо, для других — наоборот. Где же тогда настоящая справедливость?

Опять этот Карлинский! — хотел выругаться Владимир Петрович, но сдержался.

— Ты Сергей, поменьше этой софистикой увлекайся. Конечно, Юрий Михайлович — человек эрудированный и с Мариной Павловной хорошо знаком... Но все же он тебе не товарищ... Давай-ка выкладывай по порядку — какими еще вопросами ты учителей донимаешь?

— Все дело в том, дорогая Марина Павловна, на чью точку зрения стать. Попробуем стать на вашу.

Покуривая вкусную сигаретку, Карлинский смотрел, как Марина кушает. Маленькая бесстыдная родинка, похожая на мушку, придавала ее лицу ослепительную белизну. Но вот уже обвисли складки щек, набрякла промежность у шеи и подбородка. Марина кусает пирожное, обнажив десны, так чтобы не запачкать на губах ярко накрашенную кожу.

— Марина Павловна!

Она медленно поворачивает голое лицо, показывая его со всех сторон.

— Мы же друзья, не правда ли? Потому я и позволяю себе говорить начистоту. Ведь не по любви... — Карлинский понизил голос, за соседним столиком двое молодых людей сосредоточенно лакали коньяк... — то есть не из любви к родине и коммунизму вы пошли замуж? Вы, такая умная и такая красивая... Ведь вы красивая?

— Красивая, — слегка посмеиваясь, подтвердила Марина.

— И умная.

— И умная.

— Люблю беседовать с вами. Как будто ешь перец в томате. И кафе располагает к откровенности. Колорит!..

Юрий повел подбородком, приглашая оглядеться по сторонам. Молодой человек за соседним столиком упрямо твердил:

— Обожаю звон бокалов.

А его товарищ перекрестился куском ветчины, воздетым на вилку, проглотил и внушительным тоном добавил:

— Тело женщины — это амфора, наполненная вином.

— Не пора ли наполнить и наши амфоры? — спохватился Карлинский. — Только за что же нам выпить? За идеалы, о которых вы так старательно умалчиваете?

Марина пожала плечами:

— Не умею разговаривать на отвлеченные темы, Юрий Михайлович.

— А на интимные?

— Тем более.

— Да-а-а. Вы склонны к загадкам. Каждая красивая женщина, между прочим, хочет казаться таинственной. Однако с нами, Марина Павловна, опасно откровенничать. Вы все слушаете...

— Слушаю

— Смотрите, запоминаете, а потом...

— Нет, я не все запоминаю, но понимаю я все.

— А я вот многого не понимаю.

— Например?

— Взять хотя бы вашу красоту. Как вы можете...

— Как я могу, умная и красивая, жить с моим мужем? Вы это хотели сказать?

Карлинский замер. Мягко ступая, оскалив мордочку, зверь шел прямо на него. Черно-бурая лиса, песец, куница, о мой долгожданный серебристый соболь! Молодые люди за соседним столиком уже объяснялись в любви:

— А я, Витя, честно тебе признаюсь — за всю свою жизнь лягушки не обидел.

— Спасибо, Толя, что я встретил в тебе человека.

— Так ты, Сергей, по юридической части собираешься? Дельно задумал. На смену отцу, значит? Молодец! А вопросы и сомнения твои, по правде сказать, гроша ломаного не стоят. Праздные, незрелые разговоры ведешь со своим Валерьянычем. Каша у тебя в голове. Зелен ты еще в большой политике разбираться.

Ты, к примеру, за бывших пленных вступаешься. А мне лучше тебя известно, трусы они и предатели. Или насчет зарплаты. Что же ты министра к уборщице приравниваешь? Триста рублей в зубы — и шагай вертеть государством?

Ты думаешь, глупее нас с тобой наверху сидят? Пока ты немецкие глаголы спрягаешь да философии конспектируешь, там уже все известно, вычислено, рассчитано. И зачем глаголы твои нужны, и куда конспекты потребуются.

Ты одно пойми: главное — великая цель наша. Ею все и мерь — от Шамиля до Кореи. Этой целью любые средства освящены, все жертвы оправданы. Миллионы, подумай, миллионы ради нее погибли, последняя война чего стоит. А ты со всякими поправками лезешь — это несправедливо, то неправильно.

Я вот случай тебе расскажу, на всю жизнь его запомнил. Пришел приказ одному капитану: взять такую-то высоту и точка. Бойцы устали, разболтались, в смерть соваться никому неохота. А тут как раз дезертира приводят. Так, мол, и так, хотел улизнуть с поля боя. Капитан, не говоря худого слова, на глазах у всех, хлопнул его из пистолета, послал рапорт по начальству и — в атаку.

Получили мы рапорт, выясняем как и что? Оказалось — вовсе и не дезертир это был, а просто другой офицер направил его куда-то по делу, а капитан не знал или запаматовал в горячке.

Подать сюда капитана! Самоуправство? Расстрел без суда и следствия? За такое — не поздоровится. Штрафная рота, как часы.

Докладывают: капитана больше нет, пал смертью храбрых.

Что же, перед солдатами мертвого командира позорить? Офицерские погоны сомнению подвергать? Может, не пристрелил он этого дезертира, не поднял бы в атаку бойцов и приказа бы не выполнил?

Высоту-то, высоту взяли все-таки!

Я, признаться, тогда на случившееся с высоты той самой посмотрел. А теперь ты попробуй посмотри. Ну, будущий прокурор, выноси свое справедливое решение.

— Я не хочу быть прокурором.

— В защитники метишь, по стопам Карлинского, в блистательную адвокатуру?

— Нет, я буду судьей.

— Сдаюсь, сдаюсь без боя, Марина Павловна. Я полностью согласен с вами — цель оправдывает средства. И это тем более правильно, чем выше желанная цель.

Как это вы замечательно выразились? — «мало родиться красивой, красоту нужно завоевывать». Bravo! Я не подозревал, что за такой ренуаровской внешностью скрывается опытный полководец.

Знаете что, возьмите меня в свой арсенал. Красота требует поклонения, цель нуждается в средствах. Так пусть я буду недостойным средством вашей всеоправдывающей красоты. Вы не пожалеете.

А теперь выпьем — за цель, за ваше прекрасное лицо, за необходимый союз целей и средств!

Карлинский и Марина чокнулись.

— Вы воспользуетесь моим предложением?

— Не знаю. Может быть. Хватит об этом.

Марина была рассеянна. А Юрию все вспоминалось далекое, детское. Мудрый змий-искуситель вручал яблоко светловолосой Еве, нерасторопный Адам дремал под райским кустом. И для полноты картины он подвинул ей вазу.

— Попробуйте персик, Марина Павловна. Сладкое вино обычно закусывают фруктами.

Толстый человек по-ребячьи подпрыгивал, суетился, даже прихрамывал из вежливости. Он был гораздо старше и толще отца, но когда тот сбросил на пол калоши, человек вдруг нагнулся, прижал их к золотым галунам и забегал вокруг, приговаривая уменьшительными именами: «Калошки... номерочек... шляпочку-то пожалуйста...»

Сереза и Владимир Петрович прошли в зал.

Ноты и смычки зашевелились. На сцену выплыл конференсье — неудавшийся вундеркинд, облысевший от музыкальных занятий. Он почти пропел, старательно выводя каждое слово, длинный титул знаменитого дирижера, и концерт начался.

Сереза увидел, как надул щеки рыжий, похожий на боксера трубач. Скрипачи остервенело замахали руками.

Музыка потекла.

Она была с цветными разводами — как вода на улице, когда прольют керосин. Она шумела и рвалась со сцены — в зал. Сереза вспомнил, что снаружи тоже хлещет ливень, и поежился от удовольствия. Именно такой представлялась ему революция.

Буржуи тонули самым естественным образом. Пожилая дама в вечернем туалете, барахтаясь, ползла на колонну. Смело. Ее муж-генерал плавал саженками, но тоже вскоре утонул. Уже самим музыкантам было по шейку. Вытаращив глаза и сплевывая набегавшую волну, они судорожно пилили под водой, наугад.

Еще напор. Одиноко, верхом на стуле, промелькнул капельдинер. Волны бились о стены, лизали портреты великих композиторов. На поверхности плавали дамские сумочки и билеты. Время от времени из звонко-зеленой глубины, не спеша, как белый, незрелый арбуз, всплывала чья-то лысина и пропадала.

— Это тебе не Прокофьев с Хачатуряном. Классика. Какая музыка! — воскликнул Владимир Петрович.

Его тоже весьма занимало происшедшее наводнение. Но видел и понимал он больше, чем Сереза: музыка не текла сама по себе — ею управлял дирижер.

Он возводил дамбы, прочерчивал каналы и акведуки, укладывал взбалмошную стихию в геометрически точные русла. Дирижер руководил: по взмаху его руки одни потоки останавливались и замерзали, другие устремлялись вперед и крутили турбины.

Владимир Петрович незаметно перешел в первый ряд. Никогда раньше не сидел он так близко от дирижера и никогда не думал, что эта работа требует стольких усилий. Еще бы! Уследить и за флейтой и за барабаном и заставить всех играть одно и то же!

Пот бежал с него ручьями, щеки тряслись. И спина хрипло вздрагивала при всякой паузе. Издали он казался легким танцором, который пляшет не ногами, а руками. Но здесь, вблизи, это был мясник, что рубит туши и колет лед, выхаркивая с каждым ударом отрывистое густое дыханье.

А музыка становилась все шумнее и шумнее. Уже не водопады и реки — они давно замерзли — ледяные глыбы пришли в движение, словно в ледниковый период. Один выступ с грохотом наезжал на другой. Перемещались миры и пространства. Новый век из гранита и льда наступил.

— Антракт! — объявил звонким голосом молодежавый конферансье.

Глава II

Раздетая донага, Марина делала гимнастику. В трюмо бесшумно прыгали розовые овалы. Ей было занятно следить за их веселой игрой.

Марина придвинулась. Ее отражение росло в размерах, оглядывая себя по частям. В целом — оно напоминало пропеллер. От узкой талии вверх и вниз разбегались упругие лопасти. Бедра и плечи уравнивали друг друга. А сбоку — от груди к ягодицам — изгибалась буква 8: синусоида торса.

Взыскательно, по-деловому, Марина выверяла пропорции. Не отвисает ли зад, нет ли морщин на шее? Она бесцеремонно мяла груди, вертела голову, массировала живот. Зеркало служило ей верстаком, чертежной доской, мольбертом — рабочее место женщины, возмечтавшей о красоте. Она не прихорашивалась, не кокетничала. Она трудилась решительно и вдохновенно.

Сегодня, восемнадцатого сентября, Марине Павловне исполняется тридцать лет. Другие в столь балзаковском возрасте кончают свою карьеру. Свадебная красotka, невзначай угодившая на обложку иллюстрированного журнала, к тридцати годам расплывается, как подогретый пломбир.

Женщины, похожие на кастрированных мужчин, гуляют по улицам и бульварам. Коротконогие, словно беременная такса, или голенастые, как страус, они прячут под платьем опухоли и кровоподтеки, затягиваются в корсет, подшивают вату взамен грудей.

Марине к маскарадным костюмам прибегать незачем. Она сумеет быть изящной в любом положении — хоть на четвереньках, с высунутым языком. А вы попробуйте в таком виде сохранить достоинство и обаяние!

Она замерла перед зеркалом. Непристойная поза еще лучше подчеркивала изгибы ее спины. Стоять на четвереньках, с открытым ртом было как-то неловко. Но Марина удостоверилась: красоту ее тела и лица ничто не может нарушить.

У прочих женщин красота служит подсобным средством. Красивым легче выйти замуж, найти любовника. Одни хотят метать икру, оправдываясь материнскими чувствами. (Как вовремя ей удалось увернуться от этой безвкусной развязки!) Другие находят непонятное удовольствие в ночной слюнявой возне. (Бедный Володечка, мне его просто жаль!) И никто не знает, что прекрасная женщина сама достойна быть целью. А все остальное — мужчины, деньги, наряды, квартиры, автомашины — это лишь средства, любые средства, служащие красоте.

Марина делает шаг в сторону — ее отражение ползет по стеклу и пропадает. На месте живота просвечивает ваза с цветами, а выше — груда коробок и гипсовый бюст. Марина догадывается, что это муж, покуда она спала, прокрался к ней в комнату и воздвиг дворец из разных сюрпризов. Это уж его пра-

вило, он всегда покупает много и беспорядочно. Вон даже бюст Хозяина, не считая конфет, духов и прочих средств, нужных ее красоте.

— Зачем вы здесь, уважаемый? — спрашивает Марина, не оборачиваясь. — Великим людям не полагается подсматривать за голыми дамами.

Она хочет закрепиться на скользкой зеркальной поверхности. Вопреки законам физики — навечно. Чтоб даже в ее отсутствие прекрасное отражение так и осталось нетронутым. Добиться этого ей нелегко.

А в коридоре уже давно скрипят половицы. Это супруг вздыхает под дверью, подглядывая в замочную скважину, как мальчишка, за утренним туалетом жены.

Марина Павловна стоит перед зеркалом, нагая, надменная. Не стыдясь и не радуясь, она поворачивается в разные стороны, чтобы мужу за дверью было удобней смотреть. Она не возражает — пусть полюбуется ради праздника. Но ребенка от нее пусть лучше не ждет.

Потом неторопливо надевает халат и говорит:

— Кто там? Войдите.

— Поздравляю тебя, Мариночка, с днем рождения.

Она целует его в щеку.

— Спасибо за подарки, Володя. Они все мне очень нравятся. Только вот эту вещь давай поставим в твоем кабинете. К моей комнате она чуточку не подходит: не тот стиль.

После первого тоста за здоровье дорогой новорожденной все накинудись на еду, и Карлинский смог наконец вплотную заняться Мариной. Примостившись подле нее слева (по правую руку, как полагается, сидел Владимир Петрович), он бросал колкие замечания в адрес гостей, чем весьма забавлял прекрасную хозяйку, вызывая зависть остальных мужчин.

— Политическая лояльность нашего собрания обеспечена, — кивнул Юрий в сторону следователя Скромных, давнего друга семьи Глобовых.

Марина была в ударе. Она смеялась острогам Карлинского, угощала ближайших соседей, подкладывала себе в тарелку наиболее лакомые куски, изучала туалеты дам, не пренебрегала и Владимиром Петровичем, время от времени касаясь коленом его ноги под стулом, и легким движением ресниц управляла домработницей, следя за непрерывным конвейером вин, салатов и соусов. Потому все неослабно чувствовали праздничное присутствие Марины, кушали, пили, говорили ради нее одной. И это было всем приятно, а ей — тоже.

— Обратите внимание, — нагнулся к ней Юрий, — с каким пылом этот хранитель госбезопасности расхваливает своего отпрыска. Все профессиональные тюремщики, по моим наблюдениям, нежно любят детей. Добро и зло уравновешены в природе...

Марина Павловна сочла нужным ответить:

— Вероятно, поэтому, Юрий Михайлович, адвокаты в домашнем кругу так жестоки и злы?

— Камешек в мой огород? Но какого гуманиста не выведет из себя это родительское сюсюканье? Можно подумать, здесь одни садисты и заплечных дел мастера.

Разговор, действительно, шел о детях.

— А где Сережа? — спросила жена следователя. И не успела Марина ответить, что ее пасынок вместе со школой уехал на уборку картофеля, как супруг Скромных уже затянул свою обычную арию: «А вот мой Боренька...» Все восхищались умом десятилетнего мальчика.

— Я пью за день рождения вашей будущей дочери, Марина Павловна. За невесту моему Борису! — неожиданно заключил следователь.

Неужели она беременна? — подумал Юрий, но, взглянув на бесстрастное лицо Марины, успокоился: этот следователь готов спаривать еще незачатых младенцев.

Владимир Петрович тоже был изумлен: ну и нюх у Аркадия Скромных — уже все знает! И чтобы не выдавать приятной тайны раньше срока, прокурор, позвонив ложечкой о бокал, взял слово:

— Хоть ты и старый следователь, Аркадий Гаврилыч, однако улик у тебя нет и дело временно прекратим за отсутствием состава преступления. Выпьем лучше за всех наших детей, за прочную семейную жизнь!

Гости повиновались.

— Что такое человек семейный? Это — серьезный человек, и в дружбе, и в работе, и в государственном смысле — надежный. Кто детьми обзаводится, тот хороший гражданин. Он о семье думает, о будущем, о потомках, на земле укорениться желает. Он весь на виду.

Глобов раскрыл ладонь, широкую, как тарелка, и, сжав ее в кулак, продолжал:

— Я лично сторонник многодетной семьи. Сам из такой вышел. Нас, Глобовых, по всему миру — как в лесу грибов. И стреляли нас, и резали, а вот не перевелось, не изничтожилось глобовское племя. Младший брат — на Дальнем Востоке полковник, другой — на Каспии рыбным комбинатом орудует, сестра в Ленинграде, в прошлом году диссертацию защитила.

Пальцы прокурора разгибались, начиная с мизинца. Вот и указательный. Это, по всей вероятности, был сам прокурор — прямой, крепкий, с отполированным ногтем на конце.

— И есть же люди — за бездетность агитируют! Вчера читали в газете? Неомальтузианство. Целый подвал. Очень оно распространено на Западе — это нео. И у нас кое-что в этом роде можно еще встретить. Мне в руки одно дело попало...

Перегибаясь через бутылки, Глобов зашептал следователю. Гости отвели глаза к еде, догадываясь — аборт.

Карлинский подавил внезапный приступ тошноты. Чтобы рассеяться, стал думать о Мальтусе. В каждой теории есть своя правда. Нельзя же размножаться до бесконечности? Заселим Сахару, Антарктику, а дальше куда? Вот тут и следует изобрести нечто универсальное.

Известно же — человеческий зародыш на какой-то ранней стадии уподобляется рыбе. Зачем же попусту гибнуть рыбным богатствам страны? В прекрасном будущем этих милых рыбок утилизируют. Осторожно изымут из материнского чрева и станут разводить в особых прудах, приучая к самостоятельности. Пускай себе обрастают чешуйками и плавниками под государственной охраной какого-нибудь глобовского собрата. Тут же, при абортарии — рыбозавод, консервы в огромном количестве. Кого в шпроты, кого в килечки — по национальному признаку. И все произойдет в согласии с марксизмом. Мы снова вернемся к людоедской закуске. Но не вспять, не к первобытному пожиранию себе подобных товарищей, а, так сказать, на более высокой и деликатной основе. Развиваясь по спирали...

Юрия уже не тошнило. Он был в восторге: не познакомить ли Марину Павловну с этой оригинальной идеей? Но покуда он сомневался — все-таки дама, — Марина сказала:

— Володя, что за секреты в обществе? Это нетактично. Кушай свою рыбу.

Зашипела пластинка. Простуженный тенор повел старинное, двадцатых годов, танго.

Был день осенний, с деревьев листья опадали,
В хрустальных астрах печаль усталая цвела.

Русский эмигрант из парижского бардака пел о неразделенной любви. И хотя хрустальных астр не бывает, всем стало не по себе, когда тенор с горестным изумлением воскликнул:

Ах, эти черные глаза!

— Ах, эти черные глаза, — подхватил на низкой ноте невидимый хор.

Меня пленили

— сокрушался белоэмигрант, и хор глухо роптал: — Меня пленили.

Их позабыть не в силах я,
Они горят передо мной.

Владимир Петрович бережно передвигал Марину меж танцующих пар. Автоматически, под гипнозом, она выбивала такт. Блаженное безволие колыхало ее. Озноб, словно минеральная вода, испускал пузырьки. Они взбегали вдоль позвоночника — к шее — по изъямшей коже затылка — до кончиков наэлектризованных волос.

Ах, эти черные глаза!
Кто вас полюбит,
Тот потеряет навсегда и счастье и покой.

— Ах, эти черные глаза, — простонала Марина.

Не глядя по сторонам, она знала, что все смотрят на нее и ею одной любуются. Каждый мужчина здесь мечтал танцевать только с Мариной. И ей хотелось идти и идти без конца под эту песню о неразделенной любви, идти по всей земле, меняя страны, времена, партнеров, и, никого не любя, изнемогать от счастья, что все тебя любят и что тебе лучше всех.

— Сегодня я выбираю музыку и кавалеров! — объявила Марина, пуская пластинку еще раз. Она отплыла с Карлинским, лишь зацвели астры, каких не бывает на свете.

Их позабыть не в силах я,
Они горят передо мной

— подпевал Юрий в теплое ухо Марины.

Он сам не ждал, что его искушенную душу так растрогает бульварный романс. Но сколько ни зубоскалил Юрий над этой мещанской экзотикой, он не мог развеять ее утонченно-пошлого очарования.

В ананасовых рощах цветут хрустальные астры. У фешенебельных отелей, на фоне сплошных пейзажей фланируют взад и вперед прилично одетые мужчины при тросточках и золотых зубах. Симпатичные дамы в будуарах и — как это? — кудуарах строят куры. А вокруг саксофоны, чичисбеи, неглиже. Гондолы и гондоны. Гривуазно ныряя. В рюмке от сервиза пламенеет ликер. Петя + Тося = Любовь. Лю-эс.

А Марина прильнула к нему, покорная и доверчивая. Будто она поняла наконец, кто ее избранник. Будто не нужно ей никого-никого, кроме Юрия. И возможна в жизни — если не любовь, то хоть обыкновенная нежность.

Вот тут, посередине, Марина сменила партнера. По ее знаку подскочил следователь Скромных, заранее вихляя задом. Он увлек Марину в новый крутоворот.

Владимир Петрович проводил насмешливым взглядом одинокую фигуру Карлинского и опять, делая вид, что курит, повернулся к танцующим.

На выгнутой шее — лицо. Оно застыло. А тело пульсирует в такт музыке, перебирает ногами. И спящее лицо покачивается. Будто лунатик, Марина идет по комнате. Вот она придвинулась к своему кавалеру, отступила, снова придвинулась. Лицо покачивается. Белое, строгое, как от другого туловища, оно не принимает участия в окружающей суетне. Переплетаются ноги, пыхтит очередной счастливцев, нетерпеливо ждут своей минуты следующие мужчины. Но лицо Марины спокойно, точно она отсутствует, точно ей все равно, кому и когда достаться.

И эта мертвая неподвижность ее лица и эта длинная очередь к жертве, впавшей в беспамятство, вызывают уже не ревность, а ужас — перед насилием, что совершается в его доме, у всех на глазах, под музыку. Чтобы как-то остановить их — потерявших стыд и совесть людей, — прокурор подходит к извергавшемуся вконец патефону и будто бы ненароком, споткнувшись, опрокидывает его на пол.

Юрий не мог заснуть. Последнее время, по ночам, с ним бывало такое: вдруг он вспоминал, что должен умереть, и начинал бояться. Особенно часто это случалось, когда он лежал на спине.

Жизни его не угрожала опасность, и можно было надеяться, что он проживет еще лет двадцать пять, а то и все тридцать пять, если будет беречь свое здоровье и бросит курить. Но самая мысль о том, что через двадцать пять или даже через сорок лет ему предстоит умереть, была нестерпима. Это очень страшно, когда тебя нет, а другие еще существуют.

Гроб и могила его не пугали. Главное — что ничего не будет после смерти, ничего и никогда, на веки вечные. Если бы спровадили в ад, и то — лучше: пусть поджаривают на сковородке — все-таки какое-то самосознание остается.

Ему вспомнилось, как в детстве он завидовал слонам, которые живут сто пятьдесят лет. А шуки, говорят, — двести. А когда умер отец, Юрий бился в истерике и все думал, что ему жаль бедного папу, а он себя жалел, догадываясь о своей смерти, и потом долго расспрашивал всех про загробную жизнь в надежде, что она есть.

Зачем они отняли веру? Личное бессмертие заменили коммунизмом! Разве может быть какая-то цель у мыслящего человека, кроме себя самого?

Чувствуя, что он умирает и вот-вот совсем исчезнет, Юрий сел на кровати и зажег лампу. Он кашлянул и подумал, что *тогда* и кашлять уж не придется. Потом увлажненными пальцами потрогал стул, который останется (и ножки стула останутся!), в то время как Юрия уже не будет.

Рассказать об этой беде — некому. Всякий станет смеяться над тобой, а про себя думать: «Я ведь тоже умру». Сочувствия не дождешься.

Был только один выход — самообман. К нему прибегают люди, отвлекая себя чем угодно от этой — сводящей с ума — пустоты. Кто занят политикой, как медведь Глобов, кто, вроде Марины... Марина! Вот где нужно искать спасение! В этой женщине, самой красивой из всех женщин, каких он знал.

Юрий привстал, вынул сигареты и закурил, чтобы лучше схватить скользящее из головы решение. И выпуская дым изо рта, чувствовал, что он жив, и курит, как полагается, и затягивается по-настоящему, и выпуская дым изо рта, как мертвые не могут. И радуясь этому, выпускал изо рта дым, и курил, и опять радовался.

Марина и впрямь была достойным занятием. Он сам, задолго до этой ночи, интуитивно, как лошадь в буран, выбрал верный путь. Он объявил себя средством, всего лишь средством, ее красоты. Он восхищался и потакал, желал и раболепствовал. И не раз был унижен и брошен, как сегодня — во время танцев. Но только теперь Юрий мог, положила руку на сердце, сказать, что сделал открытие, может быть, позначительней Архимеда.

Пусть точкой опоры послужит ему Марина! Эта недотрога, возомнившая себя целью мироздания, станет средством от бессонницы. А целью, целью будет он сам и его победа над нею. Он поразит Марину тем же оружием, применит любые средства, чтоб доказать свое превосходство.

— Боже, как унизительно будет ваше паденье! Я уж позабочусь, поверьте моему скромному опыту!

Юрий свернулся калачиком и, предчувствуя, что сладко заснет, улыбнулся себе широко и умиротворенно, как давно никому не улыбался. Ему казалось, что он будет жить долго-долго, что он всех переживет и, может быть, даже никогда не умрет. Но лампу он все же не выключал.

Пластинка была разбита, и вечер испорчен. Муж перешел границы ее терпения. Как только откланялись последние гости, Марина объявила войну.

Владимир Петрович довольно успешно парировал первые удары, отметив, что порядочная женщина, танцующая танго, не позволит Карлинскому гладить себя по спине. Тогда она припомнила ему гипсовый бюст, и вульгарную речь за столом, и следователя, с которым он шушукался чуть ли не весь вечер, и, не дожидаясь ответа, с ходу, повела развернутое наступление.

Ее лицо светилось от гнева. Раскаленное добела, оно было острием, готовым вонзиться, а тело, обтекаемое, как торпеда, — целясь наверняка — нетерпеливо подрагивало.

Крутые меры не пугали Марину. Она понимала, что на войне сострадание так же опасно, как измена. Ей казалось бестактным — пули дум-дум и ядовитые газы считать негуманным оружием. Марина была достаточно умна, чтобы догадываться о том, как больно умирать обожженному обыкновенным термитом.

— Ах так? — сказала она, услышав какую-то резкость. — Знай же — ребенка у нас не будет: я сделала аборт.

Это было подобно взрыву атомной бомбы. Число жертв и разрушений в первый момент установить невозможно. Все стерто с лица земли, и сражаться больше не с кем. Но где-то, на окраине, хоть один человек, да уцелеет.

Он встает, и встряхивается, и крутит в пальцах чайную ложечку, залетевшую к нему в рукав с витрины какого-нибудь (тоже взорванного) ювелирного магазина. И видит, что кроме этой ложечки ничего у него нет — ни дома, ни семьи. Потом вспоминает дальше и видит, что долгожданная дочка погибла при катастрофе, и сворачивая ложечку в задумчивый узелок, замечает еще, что вдвойне опозорен — как муж и как прокурор. И не понимает, что же делать ему с исковерканной ложечкой, а также — причем здесь гражданин Рабинович, когда его собственная жена... И говорит:

— Что ты наделала! Что ты наделала!

И чтобы не убить, дает пощечину.

Чтобы он ее не убил, Марина скрылась у себя в комнате. Она не плакала. Сидя перед зеркалом, она гладила пуховкой оскорбленную щеку и подбирала перекошенный от боли рот, казавшийся слишком большим для ее лица.

Глава III

«Спартак» наступал. Центр нападения — заслуженный мастер спорта Скарлыгин — пробивался к воротам противника. Счет был 0:0. У всех занялся дух.

Тысячи зрителей, в том числе прокурор Глобов, впившись глазами в тело прославленного спортсмена, объединенным усилием толкали его вперед. Но тысячи других воль, что боролись на стороне «Динамо», воздвигали на пути Скарлыгина бесчисленные преграды, желали ему споткнуться, упасть, сломать шею. И потому мяч, ринутый могучею ногою, не летел по прямой, как можно было от него ожидать, а метался растерянно, путаясь в бутсах и приводя в замешательство игроков.

Владимир Петрович изо всех сил старался помочь «Спартаку». Напрягая мускулы, он видел, что оборона противника начинает слабеть. Удвоил натиск — она поддалась. И тогда, очертя голову, он ударил, и еще раз ударил, и еще, и еще...

Футбольный матч — в острейшие секунды игры — все равно что обладание женщиной. Ничего не замечаешь вокруг. Одна лишь цель, яростно влекущая: туда! Любой ценой. Пусть смерть, пускай что угодно. Только б прорваться, достичь. Только б заслать в ворота самой судьбою предназначенный гол. Ближе, ближе, скорее... И уже нельзя ждать, нельзя отложить до другого раза... — Ну, я прошу тебя, Марина, понимаешь, прошу!..

Центр нападения, Скарлыгин, подобрался к воротам «Динамо». Вратарь Пономаренко, по-мальчишески юркий, пританцовывал от нетерпения, готовясь к прыжку. А сзади уже наседали запыхавшиеся защитники. — Бей, Саша! Бей! — стонал стадион.

Пономаренко покатился кубарем, прижимая мяч к животу. Скарлыгин тоже упал, но сейчас же вскочил на ноги, подброшенный ревом толпы. Он уже не мог остановиться, потому что цель, ради которой ему пришлось столько выстрадать, была рядом, и тысячи людей требовали победы, и до конца игры оставалось полминуты. Скарлыгин нанес удар. И еще раз ударил, и еще...

...Когда объявили ничью, Владимир Петрович обиделся: — Гнать надо судью. Непорядок — забитый гол отменять.

— А твоего Скарлыгина — судить за грубое нарушение правил, — подсмеивался следователь Скромных, известный своими симпатиями к «Динамо». — Разве это допустимо? Живот у человека — самое деликатное место. Простым кулаком убить можно.

— Но мяч все-таки в воротах?! Так или не так?

Обе команды уже уходили с поля — в пыли, тяжело дыша, под звуки спортивного марша. Плелся маленький Пономаренко, согнувшись в три погибели. Хромал исполин Скарлыгин. Ему свистели, улюлюкали со всех трибун стадиона. И он еще жалобнее волочил здоровую ногу, чтобы чем-нибудь оправдать свою проигранную победу.

— А я понимаю Скарлыгина, — рассуждал Владимир Петрович, дожидаясь, пока схлынет народ. — В горячке не разбираешь. Бьешь — и все тут. Когда ворота рядом — миנדальничать не приходится. Все способы допустимы...

И он принялся проводить какие-то аналогии, затронул политику и еще что-то. Аркадий Гаврилович плохо его слушал.

— Антисемитизм во имя интернационализма или интернационализм во имя антисемитизма? — переспросил он, явно не улавливая, о чем идет речь.

Глобов начал объяснять, но тот перебил с полуслова. Видать, ни за что не желал уступить первенство «Спартаку»:

— Все это верно... Однако футбол — не политика. И вообще, знаешь, не люблю я в высокие материи забираться. Это уж твое прокурорское дело теории подводить. А я — практик. Растолкуй мне лучше историю с твоим Рабиновичем.

Сереза с вокзала проехал прямо к бабушке:

— Ты вырос и загорел.

Не вставая, она протянула руку.

— Ну, куда целоваться лезешь? Погоди — допечатаю страницу.

И застучала в машинку.

— Как дела с картошкой? Дождей испугались? Тоже мне — детки! Мы в твои-то годы по тюрьмам сидели. Есть хочешь? Возьми за окном, разогрей. Да рассказывай ты, рассказывай побыстрее. После успеешь поесть.

Бабушка удивительная. Если б все такими были, коммунизм давно наступил бы. Ее бы — в колхоз. Она — им покажет!

Но выслушав Серезу, Екатерина Петровна молчала. Потом еще свирепее забила в клавиши. Пишущая машинка трещала, как пулемет. Бабушка, попригнувшись на стуле, расстреливала в упор, не целясь.

— Так и знала — опечатка. Придется переписать. Это все ты виноват: под руку разговариваешь.

Она вложила новую обложку. Сереза терся щекой о спинку стула, заглядывал через плечо.

— Целую страницу? Заново? Из-за одной опечатки? Все равно книга твоего писателя никому не нужна.

— То есть как это, не нужна? — изумилась Екатерина Петровна. — Ты сам говоришь — в отдельных колхозах еще есть недостатки. А здесь, — она ткнула в рукопись, — дан образец. Электродоилки, электроплуги. Пусть берут пример. Язык, правда, плох и любви слишком много.

— Я читал, — отмахнулся Сереза. — Все это одно сплошное образцово-показательное вранье.

— Тише! Опомнись!

Но Сереза будто катился с горы: — Я знаю... Я сам видел...

Тогда она поднялась. Если б не морщины, — девочка, ну просто, — девочка. Стриженная, стройная, в белом воротничке.

— Это, это... Ты отдаешь себе отчет, что ты говоришь?

— Знаю... видел... — не унимался Сережа.

— Ничего ты не знаешь. Это враги говорят. Те, кто против... Как ты можешь? Нет, как ты можешь?

Бабушка задыхалась. Сухие, как сено, космы лезли в разные стороны.

— Вовсе я не против... Я и жизнь, и что хотите. Ты, бабушка, вроде отца. С вами и поговорить невозможно. Вот если бы мама была жива...

Он всхлипнул и сразу стал маленьким. Милый, глупый ребенок, сиротинушка ты моя. Ей хотелось поплакать вместе с Сережей. Но она понимала — нельзя — надо пресечь — надо быть строгой.

— Не реви. Ты же взрослый. Мы в твои годы по тюрьмам сидели. Революцию делали.

А он уже ревел, уткнувшись в ее колени. Светлый пушок вился на затылке.

— Сегодня же пойдешь в парикмахерскую. Успокойся, врагом народа никто тебя не считает. А вот самоуверенность у тебя отцовская. Ну что ты в жизни видел? Не реви.

Сережа слушал, как вздрагивают его лопатки, и, удивляясь этому, плакал еще сильнее.

— И с отцом меня, пожалуйста, не сравнивай. Мы с ним — разные люди.

— А мы с тобой? — спросил Сережа, не подымая лица. Он знал, что об этом спрашивать стыдно, но раз уж он плачет, как маленький, — все равно.

— Домой тебе лучше пока не ходить. У них там семейные дразги. Поживешь у меня.

— А мы уживемся, бабушка? Я своими принципами не поступлюсь!

— Какие у тебя принципы! Ты думаешь, я старая, ничего не вижу, не замечаю. Я, может быть, побольше тебя плохого знаю. Но, Сережа, ведь ты сам понимаешь — надо верить, обязательно надо верить. Ведь этому вся жизнь отдана, это — цель наша...

Сережа лег на спину и открыл глаза.

— Знаешь что, бабушка, — сказал он счастливым, сырым голосом, — я пришел к выводу: нам только одно теперь может помочь — мировая революция. Ты как считаешь — мировая революция будет?

— Ну разве можно в этом сомневаться? Конечно, будет! Давай-ка я тебе поесть разогрею, — сказала бабушка.

Не зная, куда деваться, они забрели в планетарий. По крайней мере здесь дешевле и темнее, чем в ресторане, — смекнул Юрий. А домой к нему Марина идти пока что упрячилась: должно быть, не подошло еще время.

Над ними — по всему куполу — разожгли мироздание. Оно повисло миллиардами звезд и тихонько крутилось, поскрипывая на поворотах, будто настоящее небо. Оно раскрывало мохнатые недра и, вывалив содержимое, позволяло удостовериться, что Бога — нет.

Вселенная была пуста. И эта пустота была до того огромна, что невозможно представить, и до того бесцельна в своей бесконечности, что Юрию снова, как тогда, в постели, стало не по себе.

К счастью, на этот раз рядом сидела Марина. В темноте от нее духами пахло сильнее, чем на свету. Ее присутствие убеждало, что ты тоже существуешь. Больше того, оно вносило какой-то смысл в эту звездную бессмыслицу, распахнувшуюся над головой. Оно напоминало про цель, за которую надо бороться. И Юрий, как было намечено, принялся объясняться в любви.

Он говорил все те милые глупости, какие употребляют влюбленные, дескать, не в силах жить без нее, и мучается, и не спит. Марина не отвечала, но ее дыхание стало настороженным, и он решил полностью провести задуманный план.

Суть его состояла в том, чтобы притвориться несчастным. Нет, на ее жалость Юрий и не рассчитывал, он делал ставку на лезть — это гораздо вернее. Всякой женщине лестно, что из-за нее страдают, а если она честная женщина,

она захочет отблагодарить. И Юрий рассказывал ей на ухо, какой он слабый и маленький, и унижая себя, потакал ее самолюбию, ибо она должна была думать, что ничтожен он по ее вине.

А в небе тем временем стало светлее, потому что взошло солнце. Оно было большое, как дыня, и заставляло бегать за собой мизерные планеты. Всем этим устройством управлял астроном-профессор, притаившийся в углу. Он твердил, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как утверждают невежды и мракобесы.

Это рассмешило Юрия: Земля, вероятно, думает, что она — Солнце. Пусть — думает. Но ему-то хорошо известно, кто из них цель, кто средство и где настоящее Солнце. Оно вращается только вокруг себя, единственного, любимого. У Солнца других целей, кроме себя, — нет.

А сам говорил:

— Марина Павловна, будьте моим Солнцем. Ведь ваше лицо — это центр орбиты, по которой я верчусь. Все мои лучшие качества — лишь отраженный свет вашего великолепия...

И так далее, и тому подобное — все про то, как жалок и мал по сравнению с ней — он, он! — бесценный и первый. Сейчас наступит затмение, — объявил профессор загробным голосом.

И затмение началось — да какое! Таких затмений — сам профессор признался — в жизни не встретишь, а если и бывает когда, то — раз в сто лет. Солнце скрылось, точно его проглотили. Под юбкой у вселенной стало совсем темно. Темнее, чем ночью, потому что ночью светит Луна, а здесь Луна только и делала, что затмевала Солнце. Лишь электрические звезды чуть заметно мерцали. Тогда он понял — пора!

Марина целовала, не разжимая зубов. И вдруг, на одно мгновение, острый язык высунулся, дважды ужалил и отскочил. И снова сжатые зубы. И уже оттолкнула. Но сомнения быть не могло: здесь, в небесной пустыне, под угасшим солнцем, Марина платила за лесть.

...Когда зажгли свет, ее лицо сохраняло надменное спокойствие и ехать к нему на квартиру она опять отказалась

— Чем вы заняты? Куда торопитесь? — допрашивал Юрий.

— Важное дело, — улыбнулась Марина с таинственным видом. — А вы, Юрий Михайлович, превышаете свои права. Уже забыли, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли?

Купол при полном освещении оказался низким и грязным. Было непонятно, как туда вмещается столько неба. Народ толпился у выхода. Там какой-то ничему не верящий старичок под общий смех доказывал, что Бог все-таки есть. А малыш лет шести приставал к отцу:

— Папа, Земля — круглая?

— Круглая.

— Совсем круглая?

— Да, как глобус.

— А она вертится?

— Вертится, Миша, вертится, тебе ж сейчас показывали.

— А Солнце больше Земли?

— Во много раз больше.

— Значит, все — неправда! — сказал мальчик и горько заплакал.

Над головою там и сям порхали ножницы. Перелетая от уха к уху, они щебетали. Сережа сидел в кресле, стараясь не шелохнуться, чтобы тому, за спиной, было удобнее стричь.

Это очень неловко, когда взрослый, мужчина копается в твоих волосах. Ему бы полезное дело делать, а он все свои способности тратит на парикмахерскую. А ты сидишь перед ним, как буржуй, и боишьсядохнуть.

Никелированная машина щипала шею. Было больно. В угол между глазом и носом вылезла слеза. А утереться нельзя: еще что подумает.

Великие революционеры тоже приучались заранее. Рахметов спал на гвоздях...

— Голову ниже, — скомандовал парикмахер.

Сереза согнулся, как только мог. Ему хотелось, чтобы еще больнее. Сдирайте кожу — он не уступит. Надо воспитывать волю: вдруг его когда-нибудь будут пытаться. В руках палача сверкнула бритва. Навалившись грудью на Серезу, он подчищал виски. Потом встрепенулся и сорвал салфетку.

— Прикажете освежить?

— Не стоит, благодарю вас, — попросил Сереза, краснея.

— Всего шестьдесят копеек, — настаивал мучитель, всем своим гордым видом выражая презрение к Серезиной бедности.

— Я не поэтому. А просто я не люблю, если пахнет одеколоном.

И чтобы откупиться, он сунул ему пятерку — отец всегда давал чаевые швейцарам и шоферам...

Холодея свежим затылком, Сереза двинулся к выходу — сквозь строй одетых в белое мастеров. Каждый сжимал в руке никелированный инструмент, методично и сухо терзал своего клиента.

Чик-чик-чик,

Чик-чик-чик...

А в зеркалах подбородки, лысые и кудрявые головы. Склоненные, задранные, перекошенные, с мыльной пеной у рта.

Чик-чик-чик,

Чик-чик-чик...

Все было спокойно, гигиенично, никто не кричал и не плакал. Но даже лампочки в люстре нестерпимо благоухали.

...В передней небритые люди напряженно ждали своего часа. Заглядевшись на них, Сереза открыл не ту дверь и обомлел.

Здесь был дамский зал. Здесь красили и завивали. Над запахом неживого душистого мяса плавал чад паленых волос.

Впереди, связанная простыней, покоилась женщина. Ее лицо было густо обмазано бледно-фиолетовой кашей. Оно растекалось, когда массажистка погружала в него свои холеные руки. А потом лицо закопошилось и разлепило веки.

— Как ты сюда попал, Сереза? Не бойся. Ты не узнал меня? Это же я — Марина.

Поздно вечером Глобов приехал в суд. Вахтер отпер без колебаний: он уважал причуды прокурора и был ему предан.

— Иди, старина, спать, — сказал Владимир Петрович и обласкал папирой. А сам прошел по коридору, всюду включая свет.

Зал был пуст, и стол был пуст, и пусты судейские кресла с государственными гербами на спинках. Но вся эта деловая, знакомая до мелочей обстановка казалась еще торжественней, чем в дневные часы.

Прокурор любил приезжать сюда в нерабочее время и готовить обвинительные речи прямо на месте. Как будто не репетиция, а самая настоящая процедура шла обычным порядком — при полном составе суда, в строгой ночной тишине.

...Напрасно подсудимый пытался все запутать, отрицал свою виновность и просил прощения.

— Нет, гражданин Рабинович, не вам взывать к милосердию! Вспомните лучше о матерях, которых вы калечили. Подумайте о несчастных отцах — они так и не дождались ребенка! О детях, наших детях, уничтоженных вами.

И молчал уличенный преступник, и молчал судья, и молчал вертлявый адвокат, похожий на Карлинского. Все соглашались с тем, что говорил прокурор.

Он обвинял Рабиновича, но помнил обо всех врагах, которые нас окружают. И потому слова его попадали прямо в цель. От незаконного аборта — один шаг до убийства, а отсюда — недалеко и до более серьезных диверсий.

И враги забеспокоились. В тишине, глубокой ночью, они строили козни. Они искали место, куда бы побольнее кольнуть. И вот встает адвокат, похожий

на Карлинского, и публично объявляет: жена самого прокурора сделала недавно аборт.

Марину выводят под руки на общее обозрение. Ее лицо — и в позоре — прекрасно, как всегда. Она смотрит сквозь тебя, так что хочется обернуться, смотрит — словно за твоей спиной — большое зеркало и она не с тобой разговаривает, а глядится в себя.

А глаза обещают, манят. Но попробуй — придвинься — опустятся пушистые веки, и с каким-то страстным презрением, всегда одной и той же, заранее заготовленной гримасой, она скривит обжигающий рот: — Ах, оставь!

— Что же, судите ее, граждане судьи! Судите, если это потребуется. Но помните, помните о врагах, которые нас окружают!

И молчит зал, и молчит судья, и такая гробовая тишина кругом, будто нет здесь ни единой души.

И снова встает адвокат, науськанный врагами, заявляя, что у прокурорского сына вредный образ мыслей. А Сережа сам подходит к столу и во всеуслышанье подтверждает:

— Для прекрасной цели, — говорит, — нужны прекрасные средства.

— Глупый мальчишка! — кричит ему Владимир Петрович. — Я же объяснял тебе, куда эта доброта приводит. С твоими прекрасными средствами можно только погибнуть, а мы должны победить, победить во что бы то ни стало. Судите его, граждане судьи, если считаете необходимым! Судите и меня вместе с ним за проявленную мягкотелость! Пусть лучше пострадают десятки и даже сотни невинных, чем спасется один враг...

Когда прокурор Глобов представил себе эту картину и на суде собственной совести взвесил все аргументы, обвинительная речь была уже готова. Не написанная на бумаге и даже не произнесенная вслух, она звучала в ушах исполненным приговором и просилась наружу — в слово. Тогда Владимир Петрович выпрямился и, пристально глядя в круглоголовый герб, украшающий судейскую спинку, громко, так чтобы слышно было во всех концах зала, отчеканил:

— Мы не позволим никаким Рабиновичам подрывать наше общество в самой его основе! Мы не дадим врагам уничтожить нас, мы сами их уничтожим!

Потом он обошел пустое здание, медленно, по всем коридорам. Каждый закоулок осматривал — нет ли кого? Взобрался на второй этаж и тщательно, по-хозяйски проверил все двери, все запоры. В этом доме он — хозяин, потому что обвиняет здесь — он.

И слышит Владимир Петрович, как внизу, в оставленном зале, продолжается церемония, пущенная им в ход.

— Суд идет!

— Суд идет!

— разносится повсюду: по его обвинениям ведут дела, выносят решения, кого-то привозят и кого-то увозят.

А кто обнаружил Рабиновича, открыл эту цепь процессов? — Прокурор Глобов. Кто в трудную минуту заменил и судью и присяжных? — Опять же — он и никто другой. Первый, когда другие молчали, он встал и обвинил. Все думали: Рабинович — пустяк, анекдот, жалкий смешной человечек, а он обвинял, не слушая ни свидетелей, ни адвокатов. Еще ничего, ничего не было. А он уже обвинил. С этого все и началось.

Когда Владимир Петрович обходил второй этаж, он заглянул между прочим в дамскую комнату, какая бывает в любом учреждении — есть она и в горсуде. Зашел он туда не из любопытства, а для проверки — нет ли кого? Там было пусто, и только надписи на стенах задержали его внимание. Он прочел, усмехнулся, подумал, что надо сказать вахтеру, чтоб завтра же стерли, и забыл про них. Но я эти надписи помню. В общей уборной, запершись в маленькой тихой кабинке, ты, наконец, остаешься один на один с самим собой. Здесь ты можешь делать, что хочешь. Никто не увидит, не помешает. Мужчины обычно в таких случаях пишут одни непристойности. Женщины оказались лучше нас, они пишут слова любви и негодования.

Коля, береги себя.

Твоя мама.

Петр! Ненавижу тебя!

Твоей не буду.

Милый Федя, я Вас люблю.

Вспомни, где будешь.

И десятки других фраз, все про любовь и разлуку. Тот, к кому обращены эти слова, никогда о них не узнает. Да и написано все это не для читателя. А просто брошено в пространство, на ветер, в самые дальние дали. Только Бог или случайный чудака-любитель может подобрать эти молитвы и заклинания.

Я хотел бы так же верить в слово, как верят эти женщины. И сидя в своей комнате, похожей на туалетную кабинку, глубокой ночью, когда все спят, писать слова, короткие и прямые, без задних мыслей и адресов.

Вначале было слово. Если это правда, то первое слово было таким же прекрасным, как надписи в женской уборной городского суда. Когда оно произнеслось, мир начал жить наподобие преискуранта. Всюду висели дощечки с названиями — «елка», «гора», «инфузория». И каждая вещь была вызвана своим словом, и слово было делом.

— Судебным делом, — поправляет меня Хозяин. — Ты слышишь, сочинитель! Уж если слово — так обвинительное слово. Уж если дело — судебное дело. Слово и дело!

Я слышу.

Суд идет, суд идет по всему миру. И уже не Рабиновича, уличенного городским прокурором, а всех нас, сколько есть вместе взятых, ежедневно, ежедневно ведут на суд и допрос. И это зовется историей.

Звенит колокольчик. — Ваша фамилия? Имя? Год рождения?

Вот тогда и начинаешь писать.

Глава IV

На собрание у зоопарка явилась одна Катя.

— А где остальные? — спросил Сережа. — Неужели струсил? Ведь мы еще в колхозе обо всем договорились.

— Парамонов не придет, у него сегодня в институте семинар по марксизму.

Катя спрятала в рукава озябшие пальчики.

— Квалифицирую это как заурядную трусость. Вот вы, Катя, вы же пришли. У вас в школе тоже, небось, утреннее расписание. А вы не испугались.

— И вы, Сережа, вы.

Она задохнулась от этого «вы», интимного и почтительного. Ей все говорили «ты» — учителя, подруги, кондуктора троллейбусов и трамваев. И вдруг, точно они влюбленные, — «Вы, Катя», «Вы, Сережа». А Сережа все нажимал: вы, вы. Дело предстояло опасное, от детских привычек пора отвыкнуть.

— Вы посмотрите, Катя, — он показал в сторону зоопарка. — Это похоже на планету Марс. Там, говорят, вся растительность красная, а не зеленая.

Осень была в самом разгаре. Деревья в парке переменили расцвету. Они покачивали фантастической, не по-земному красной листвой. И хотя Катя ничего не знала о других планетах, она радостно закивала своими большими очками.

— Да, вы правы, совсем как на Марсе.

В кассе зоопарка они купили билеты по два рубля — для взрослых — и вошли.

Все бежали смотреть зверей, а здесь, в начале марсианской аллеи, у пруда, где уже перевелись слишком южные пеликаны, почти никого не было. Только пара молодых людей в одинаковых демисезонных пальто и одинаковых шляпах. Один из них совал прутик сквозь решетку, стараясь привлечь внимание диких уток, дремавших на берегу. Время от времени он даже кричал по-ути-

ному. Но, видно, его кряканье было недостаточно натуральным, потому что умные птицы не откликались.

— Присаживайтесь, — сказал Сережа. — Здесь вполне безопасно. Предлагаю обсудить программу нашего общества.

— А как будет называться это общество? — спросила Катя и тут же предложила: — Давайте ему придумаем красивое, звучное имя, вроде «Молодой гвардии». Например, «Свободная Россия».

— Видите ли, Катя, из достоверных источников нам известно: за границей уже есть такая шпионская радиостанция — «Свободная Европа». Могут решить — мы с ними заодно. Необходимо отделить себя от всех врагов. А то империалист воспользуются.

Сережа воодушевился. Он снял кепку, не боясь простудиться, и размахивал ею в такт словам. Перед Катей открылся мир, коммунистический и лучезарный.

Самую большую зарплату получали уборщицы. Министры же для пущего бескорыстия находились на скудном пайке. Денежную систему, пытки, воровство — отменили. Наступила полная свобода, и уж так хорошо получалось, что никто никого не сажал, а каждый имел по потребностям. На улицах были расклеены плакаты Маяковского. И еще другие, сочиненные Сережей: «Остерегайся! Ты можешь оскорбить человека!» Это на всякий случай, чтоб не забывались. А кто забудет — расстрел.

Впрочем, в Сережином изложении все выходило куда более стройно и Кате оставалась неясной только одна деталь, сейчас же силой оружия свергнуть правительство или, может, повременить, пока другие страны не покончат с капитализмом? Сережа советовал подождать мировой революции, но признавал, что потом, как это ни печально, придется все-таки свергнуть.

Катя попросила внести в программу еще один пункт о совместном обучении юношей и девушек в старших классах средней школы. И, тронув Сережину кепку, робко добавила:

— Раз уж мы все равно в зоопарке, давайте посмотрим тигра.

Сережа недовольно нахмурился.

— Это для пользы дела, для конспирации, — пояснила Катя.

— Ну что ж, — разрешил он, подумав. — Для конспирации — можно.

— Старики-фламандцы писали нагое тело, как грудку всяческой снеди. Вы посмотрите, в этих фламандских дамах есть и сливочное масло, и свежие булки, и свой дамский изюм.

Карлинский скосил глаз на Марину. Та слушала его с независимым видом. Будто все, что он говорил, было ей хорошо известно. Она делала одолжение, позволяя водить себя по музею.

Вокруг висели женщины и натюрморты. На пышных задах морщилась чуть заметая рябь. Так бывает с чаем на блюде, если легонько подуть, чтобы он простыл побыстрее. Или — когда потрогаешь слишком спелое яблоко. Сквозь бледно-желтую кожуру проступят теплые пятна — следы прикосновений.

Среди этой разнузданной плоти Марина была самой одетой. Карлинский начал издаലെка.

— Почему мы так говорим: «познать женщину»? Что общего между познанием и любовью? По какой такой причине первородный грех случался не где-нибудь в кустах малины, а под яблоней познания?

Марина лизнула кожу над верхней губой. Кожа была нежна и сладковата на вкус. От этой заграничной мастики лицо становится гладким, как паркет.

— Всякое познание состоит из двух, я бы сказал, элементов: связь и различение. Не правда ли, познавая любую вещь, мы, во-первых, связываем ее с другими, во-вторых, отличаем от других вещей, как нечто оригинальное. В половом акте, — извините меня за вульгарное выражение, — и заключены первоэлементы познания. Адам и Ева слились в любовных объятьях и тут же поняли разницу где мужчина, а где женщина. Связавшись, они различились, а различившись, связались. И таким образом, познав себя, принялись познавать остальное.

Марина уселась перед «Вакханалией» Рубенса, открыла сумочку и еще раз, на всякий случай, осмотрела себя. Ее лицо не умещалось в круглом зеркальце. Нужно долго крутить головой, чтобы проверить все.

— Продолжайте, Юрий Михайлович. Итак, мы остановились на первородном грехе. Дальше что?

— С первородного греха и началось познание мира. Мужчина и женщина, свет и тьма, добро и зло, пока Гегель не назвал все это единством противоречий. Но в основе человеческой мысли, дорогая Марина Павловна, в самой последней основе, — сокрыт половой акт, два сопряженных органа, столь не похожих друг на друга. Головной мозг — всего лишь познающий придаток наших сексуальных частей.

— Это — остроумно, — заметила Марина, не улыбаясь. Она отдавала должное изобретательности Юрия, но понимала, что красивая женщина обязана не удивляться, хотя бы перед ней демонстрировал свои теории сам Гегель.

— А как же звери, Юрий Михайлович? Они ведь тоже, так сказать, размножаются. Однако философское мышление почему-то им не под силу.

У Карлинского звери были уже учтены: звери не имеют стыда, в стыде же вся суть и любви, и познания.

— Пройдемся в Древний Египет и там доберемся до сути, — сказал он, вытирая пот со лба.

Их разговор приобретал почти научный характер.

* * *

В зимних помещениях было тепло и мокро, как в оранжерее: зверей подогревали. Но лишь одни змеи, уютно свернувшись под стеклом, чувствовали себя дома. Остальные жили здесь будто на вокзале. Слонялись из угла в угол, беспричинно почесывались, ждали.

— Они ждут свободы, — определила Катя. — Они мечтают вырваться из этой вонючей тюрьмы.

В тесных простенках, скудно посыпанных сеном, подскакивают на своих костылях австралийские кенгуру. Обезьяны торопливо разучивают жесты интеллигентного неврастеника. Как пишущие машинки, стрекочут попугайчики, собранные в общей камере. Непоправимо одинок слон.

На осеннем холодке мало кто остался: волки, неотличимые от собак, рыси, похожие на увеличенных кошек. Всеобщее любопытство возбуждала овца. Должно быть, ее посадили в клетку за недостатком настоящих зверей или для полной научности. Раз уж сидит за решеткой, значит — не зря.

Катя от всего сердца жалела и волков и медведей. Она склонялась к тому, что зоопарки вместе с тюрьмами следует упразднить. Сережа резонно ей возражал: наука требует жертв. Во имя мирового прогресса. Но в будущем обществе зверинцы сплошь перестроят. Вместо этих конур — просторные, светлые клетки. Колючая проволока в виде древесных ветвей, чтобы не так заметно. Звери будут чувствовать себя почти на свободе.

Слушая его речи, Катя всплакнула.

— А вдруг они не поверят, что это для ихней же пользы? Сережа, милый, я не могу, не хочу, если тебя арестуют. Куда же я денусь?

Сняв закапанные очки, она стала беспомощной, как все женщины. Ее утешать было досадно и сладко. Ну вот, связался с девчонкой! А еще собиралась тигра смотреть для конспирации. Если бы не борьба впереди, он бы ее полюбил. Рахметов тоже подавлял в себе всякие личные чувства. И Павел Корчагин.

Ему было жалко себя — такого хорошего, такого честного, готового погибнуть за всех.

В хищном отделе им снова встретилась пара демисезонных пальто. Одно из них говорило, обращаясь к леопарду:

— Что ты можешь, зебра, по сравнению с человеком? Гляди-ка, Толя, хвостом вильнула, облизывается. А шкура вся в родинках. Такую бы зебру дома над кроватью повесить!

Леопард смотрел на него круглыми, детскими от изумления глазами. Он удивлялся этой живой пище, завернутой в пальто и в брюки, точно конфетка — в бумажку. Леопард, вероятно, был из вновь прибывших и еще плохо разобрался — что к чему.

Тигр спал на правом боку, прислонившись к решетке. Его спина была совсем полосатой. Казалось — на ней отпечатаны прутья, к которым он привалился.

Когда отворяли дверь на улицу, звери воинственно озирались и вскакивали. Они суетились, словно пассажиры на провинциальной станции перед приходом поезда. Близилось время обеда.

Только тигр не шевелился. Он спал как убитый.

Прокурор повернулся на левый бок. Он любил спать днем, после ночной работы. Тело отдыхает, но ум бодрствует, когда вокруг светло. И спится как-то спокойнее.

Засыпая, мы словно садимся за телевизор, который забыли настроить. Вещи расплываются, дали гаснут, люди ватными ногами вышагивают по ватной земле. Ты не различаешь черты приснившихся родных и знакомых. Все видишь не в фокусе. Но всему заранее веришь, как малолетний ребенок. Вот это — Марина, а это — Карлинский, и он ей говорит:

— У богов и животных нет стыда. Стыд — наша монополия. Когда Адам и Ева превратились из обезьян в человека, они устыдились. Грехопадение — познание — стыд. Не разорвать!

Лицо Марины струилось в разные стороны. Карлинский тоже имел довольно прозрачный вид. Его ладони плавали в темном воздухе, как две медузы — поднимаясь и опускаясь. Он таял в улыбках и недомолвках.

— Стыд — это табу, которое мы нарушаем. Потому и нарушаем, что стыдно. Совершать недозволенное — что может быть человеку приятнее? Тут — все наше отличие от богов и животных тварей...

— Это ты — тварь, — хотел ответить Глобов и онемел. Телевизионный экран вырос, будто в него вставили линзу. На переднем плане вспухло звероподобное существо с кошачьими лапами и женской мордой.

— Предпочитаю сфинксов, — объявила Марина. — Они гораздо красивее ваших стыдящихся обезьян.

— Сами вы египетский сфинкс! — возопил Карлинский, радостно ужасаясь. — Вас бы сюда в музей, в качестве экспоната!

Его тощая фигура расплывалась в туман. Владимир Петрович стоял в Египте имени А. С. Пушкина. Музейные залы походили на зоопарк. Разные древние народы до того были забиты и суеверны, что поклонялись даже львам и баранам. Но рисовать они умели еще очень плохо: к человеческим ногам прилаживали звериные головы, или наоборот.

Разглядеть все эти подробности не хватило времени. Перед ним, на мраморном пьедестале, вытянув передние лапы, гордо возлежала Марина.

— Кис-кис-кис, — поманил ее Глобов.

Она подползла ближе. Жаль, что я сплю, и хорошо, что испарился Карлинский, — успел он вспомнить, когда Марина, мякнув, положила ему на плечи свои когтистые лапы. Ее лицо дымилось, как чашка черного кофе. И он пригубил душистый напиток, засыпая все глубже и глубже.

Карлинский долго стоял над базальтовым зверем. С трудом выдавил очередной афоризм:

— Скотоложество наказуемо по уголовному кодексу, дабы не было столь привлекательно для человека.

— Это вы про кого? — очнулась Марина.

Они смотрели еще французов, но Юрий не реагировал даже на Ренуара. С этой проклятой Изидой хоть беседуй об акушерстве: ни стыда, ни любопытства. Точно животное. Или в самом деле — богиня...

— Меня, Марина Павловна, тоже прельщают сфинксы. Тому, кто познает вашу хвостатую даму, быть может, откроются тайники мироздания!

— Может быть, — ответила Марина, придавая лицу загадочное выражение, как это и подобает сфинксу.

Не успел Глобов открыть глаза, как откуда ни возьмись появился гражданин Рабинович. Он отбывал наказание при Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, работая в должности экскурсовода. Что за преступное ротозейство — определить его сюда!

Наглый и навязчивый, как все евреи, он дал понять: ему де свыше поручено сопровождать прокурора. После сфинксовых ласк (подглядел, сволочь!) тот, мол, обязан *volens nolens* познакомиться с кое-каким секретным материалом.

— Только смотри — чтоб мистики ни-ни!

— Ладно, — обещал Рабинович.

Над пневматической дверью светилась цитата из сочинений Хозяина:
ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ РОЖДАЕТ ВЕЛИКУЮ ЭНЕРГИЮ.

За цитатой — пространство, стеклянная банка — в центре, а в банке — заспиртованный мозг, извилистый, как земная кора. Его полушария медленно колыхались. Вокруг, по тонким трубкам, сквозь реторты и колбы, через перегонные кубы, бежал зеленоватый раствор.

Рабинович хихикнул:

— Всякий раз, попадая сюда, я немножко пугаюсь. Дрогнувшим пальцем он ткнул студенистый комок. Тот продолжал пульсировать как ни в чем не бывало.

— Не слышит. Все думает и думает, идеи изобретает. Может, у него на родине была любимая девушка. А чтоб на свиданье сходить — ног нету. На его извилинах разве далеко уползешь?

Я волнуюсь, гражданин прокурор, как бы от этих непрерывных раздумий он с ума не спятил. Ведь вся мировая цивилизация насмарку пойдет! Мы какой-то дурацкий атом расщепили и уже беспокоимся. А тут, в этой банке, представляете, — цепная реакция мозга. Взрывы идей, самумы рассеянных мыслей. Чуть недоглядел — куда там водородная бомба! Не только наша скромная планета, галактика на куски разлетится. Я, по правде сказать, опасаясь за Бога...

— Не развалится твоя галактика, не допустим, — ободрил его Глобов, — А про Бога ты забудь, Бога идеалисты придумали... Признайся-ка, Рабинович, что это за идеи производятся тут? Уж не реакционный ли какой вздор лезет из мозговой реакции?

— Что вы, гражданин прокурор! — обиделся Рабинович. — Одни только высокие цели, великие идеалы. От них — все остальное, по закону диалектики. Культуры там разные, ренессансы. У нас без обмана. Желаете лично убедиться?

— Ну, давай, действуй! Да побыстрее. А то некогда мне: просыпаться пора.

— Заявляю вам откровенно, как на страшном суде. Не мне, старому иудею, защищать дело Христа. Но ради объективности должен отметить: у Него имела, гражданин прокурор, тоже благородная цель.

Бывший врач-гинеколог вперил глаза в потолок. На его иссохших щеках заиграл лиловый румянец.

— Сына Человеческого посадить на Божий престол, ближнего возлюбить больше, чем себя самого, — очень все это прогрессивно, говоря между нами, для того исторического этапа, конечно. Ну, а что получилось? Нет, вы только послушайте, что из этого получилось!

С верхнего этажа доносился стук молотков. Это отбивали ручки у какой-то Милосской Венеры. Запахло пережаренным мясом — горели еретики.

— Сейчас гугенотов будут резать! — радовался Рабинович. А прокурор недовольно ворчал:

— Экое варварство! Я еще понимаю — идолопоклонники, мусульмане, крупные идейные разногласия. А здесь и разницы почти никакой — единоверцы.

— Для вас никакой разницы. А по их непросвещенному мнению, гугеноты, может, дьяволу продалась! Ведь нельзя допустить, чтобы два христианства сразу! Это такой же нонсенс, как два социализма. Взять хотя бы нашего Тито...

— Тито — фашист, шпион, американский прислужник!

— Ну да, я и говорю: дьяволу продалась.

Их спор был прерван праздничным ликованием. Над осатанелой толпой, лихо раскинув кровоточащие руки, кокетливо изогнувшись на золотом кресте, отплясывал победный танец Иисус Христос.

А вокруг уже шептались средневековые паникеры и нытики. Дескать, за что боролись? Измена! Перерождение! Дескать, от великой цели остались одни средства, она их оправдала, они же ее скомпрометировали.

— А я про что говорю? — суетился Рабинович. — Каждая порядочная цель сама себя поедает. Из кожи вылезает, чтоб до нее добраться, а чуть добрался — глядь — все наоборот.

— Просчитались твои иезуиты, допустили ошибку.

— Ни малейшей ошибочки. Законно. Что цель оправдывает средства — это всякий культурный человек понимает. Открыто ли, тайком, но без этого с места не сдвинешься. Если враг не сдастся, его уничтожают. Скажете — нет?

А раз хороши все средства, значит, действуй решительно. Во имя Господа Бога самого Бога не пожалей. Тут ей конец, следующая цель выползает на авансцену истории. Смотрите, смотрите, гражданин прокурор, — новенькая, как из магазина.

Опять, словно книжка с картинками, распахнулись стены музея. Нарисованные ангелы забили нарисованными крыльями.

— Снова ты мне поповские агитки подсовываешь, — нахмурился Глобов.

— Как можно, гражданин прокурор. Сплошной Леонардо да Винчи. Индивидуализм. Просвещение. Свободная мыслящая личность. Та самая личность, что взамен Христа утвердилась и постепенно буржуазные порядки кругом себя развела. Но пока — взгляните — разве такая цель не достойна любых средств? Грация, эрудиция, марципан!

— Я не желаю больше смотреть, — отвернулся Глобов, предчувствуя какой-то подвох.

Но Рабинович будто не слышал:

— Во имя этой свободы одна личность другой личности начинает кишки выжимать. Видите, как конкурируют? Теперь и до новой цели недалеко. Во имя коммунизма...

— Замолчи! Останови эту машину! Но было уже поздно.

«Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем...»

Пли!

Глава V

Владимир Петрович достал Сереже гостевой билет, и военным парадом они любовались вместе.

Площадь в танках и в пехоте была видна хорошо. Но главная трибуна осталась далеко сбоку, и что творилось там, Сережа не мог разглядеть.

— Улыбается! — заметил отец, ухитрившийся каким-то чудом быть в курсе всего. Сережа приподнялся на цыпочки и опять ничего не увидел, кроме голубых пятен с золотой каймою. Ему казалось, что отец выдумывает, но сзади кто-то солидный констатировал откормленным басом:

— Да, улыбается и сделал вот так.

— Не так, а вот эдак, — поправила костистая дама, вооруженная театральным биноклем. И тут же заскулила:

— На небо смотрит, сокол ясноглазый! На своих соколят!

Бомбовозы шли сомкнутым строем. В их прямом, тяжелом полете заключалось столько достоинства, что хотелось по-щенячьи опрокинуться на спину в знак покорности и восхищения. Но, прижимая тебя к земле, они были слиш-

ком серьезны, слишком заняты своим возвышенным, всепоглощающим делом, чтобы размениваться на мелочи и злорадствовать над тобой. Они, тараня воздух, двигались дальше, к цели, расположенной Бог знает где и по сравнению с которой Сережа — как он сразу понял это — был попросту ненужен. Даже вся эта площадь служила им в лучшем случае временным ориентиром.

Отец уже тормозил его за плечо:

— Куда ты глядишь, Сергей? Левее, левее! Видишь? рукою машет, приветствует демонстрантов.

— Родной! Любимый! — стонала костистая дама, извиваясь в левую сторону. Казалось, у нее с губ вот-вот забрызжет пена, и Сереже стало неловко за свое равнодушие. К собственному стыду, он до сих пор не сумел отыскать в пятнистой кучке, шевелящейся на трибуне, того, чье гордое имя возбуждало всех, как вино.

Про него шушукались в публике. О нем чревоуещали репродукторы. Его портреты разных размеров, очень похожие друг на друга, проплывали через площадь, словно парусные корабли. Демонстранты, проходя мимо, не смотрели себе под ноги, а кривились всем телом назад, чтобы еще раз обернуться к нему.

Но сам он, как это представлялось Сереже, странным образом отсутствовал. Все говорило, что он здесь, а его вроде и не было.

— Увидел, наконец? — допытывался Владимир Петрович. — Что ты — слепой, близорукий?

Сережа из последних сил взгляделся и к одному голубому пятну, стоявшему чуть в сторонке, добавил мысленно недостающее лицо.

— Теперь вижу.

И, набравшись храбрости, спросил:

— Он кивает, и улыбается, и машет рукой?

— Да, это — он, это Хозяин, — подтвердил отец.

На демонстрацию Юрий не пошел. Он сказался больным и все утро ловил джазы. Приемник — немецкий. Слушай хоть Би-Би-Си. Было весело прыгать вверх-вниз по всемирной шкале.

Парижскую рекламу сменяло нытье арабов. А вот сцепились хвостами две передачи. Какая-то скандинавская кирха транслировала молитвы. Тут же, невпопад, украинское контральто, промытое борным раствором, рассказывало про успехи знатного токаря Наливайки, который выполнил к празднику годовой план.

Пальцы вибрировали. В них тоже бился эфир. Радиоволны — петля за петлей — обвивали шею. В ответ, из живота, из пустой впалой груди, гудело и вздрагивало черное магнитное небо, кое-где прошитое трассирующим писком морзянки.

Юрий был антенной. А хотелось быть передатчиком. Излучать могучие волны какой угодно длины. «Внимание! Внимание! Карлинский у микрофона. Слушайте только меня, меня одного!»

Станции наперебой голосили, каждая про свои интересы. Они обступили его, как торговки на рынке. Юрий крутился, теребя ручку приемника, едава успевая настраиваться то на одну, то на другую.

Его губы напевали псалмы, штиблеты под столом выстукивали бразильскую самбу. А что он мог предложить миру от своего имени? Какое еще попури из Фрейда и гавайской гитары? Кто я и где я, оригинальный, единственный, если всем сразу пришел срок говорить?

Наконец Юрий нащупал волну «Свободной Европы». Диктор конфиденциальным тоном (должно, сам побаивался) вещал что-то пикантное — в честь октябрьской годовщины, специально. Слово предоставили бывшему подполковнику авиации, поседевшему от многих обид на тяжелой советской службе. Но только потусторонний голос бывшего подполковника произнес «Дорогие братья и сес...», — как послышалось гневное заградительное рокотанье. Это вступили в бой наши глушители.

От ружейного и пулеметного треска ныли барабанные перепонки. По «Свободной Европе», по американским джазам и французской рекламе шпарил ураганный огонь. На бескрайних электронных полях началось сражение.

Юрий проскочил мертвую зону и перевел дух. Выстрелы затихли вдали. А навстречу неслись бравурные марши и клики «ура». Первые демонстранты проходили перед трибуной. Этого перенести Юрий уже не мог. Резко, обрывая трансляцию, он вертанул выключатель. Так сворачивают головку пойманной птицы. Ему даже показалось, что хрустнули шейные позвонки.

Екатерину Петровну по привычке прокурор звал мамашей. А какая она мамаша? — уже и не теща. После второй женитьбы Глобова они почти не встречались. Но по праздникам — 7 Ноября и 1 Мая — он ее навещал.

Мамаша смеялась:

— Что, прокурор, дела другого нет? Вспомнил о революции? — И поила густым, как красное вино, чаем...

На стене — карта Кореи, утыканная флажками. Когда Сережа только родился, на том же месте висела страна Испания. Красные тряпочки, приколотые булавками, бежали по линии фронта. Старуха была консервативна в своих вкусах. Аккуратно, каждое утро, она переставляла флажки.

Он зевнул, скрипя стулом, выгибая тугую грудь, обвешанную орденами.

— Ну и пузо у тебя отросло — скоро произведут в министры. Куда только новая твоя супруга смотрит? Да ты не обижайся, я шучу. Как живешь, выкладывай. Все с женой воюешь?

Обманывать ее было нельзя.

— Дома — плохо.

Под толстым слоем лица проступили скулы, желваки, челюсть — злая мужицкая худоба.

— Сами знаете, мамаша, родился и вырос я в морально и физически здоровой среде. А тут разные фигли-мигли, интеллигентские штучки. По неделям в молчанки играем, даже обедаем порознь. Точно я — не муж, а вспомогательное средство какое-то... Я — человек простой, снизу поднялся, большого положения достиг...

— Ты только не хвастай, хвастаться тебе нечем.

— Вот этими вот руками и землю пахал, и смертные приговоры подписывал...

Его кулаки, как два танка, выползли на середину стола. Не доезжая сахарницы, они стали и, царапая скатерть, гремя посудой, опрокинулись навзничь, мясистым брюхом наружу. Владимир Петрович пожаловался на слабое сердце.

При таком высоком давлении необходим полный покой. А как тут не волноваться, когда дома — бардак, на службе — сплошные нервы, на международной арене — тоже не Кисловодск.

Под большим секретом он рассказал, что в ...гарии и ...вакии раскрыты диверсионные центры. В Н-ском обкоме группа злоумышленников готовила переворот. Враги, окончательно обнаглев, пытаются посеять панику, и самые невероятные слухи, один сногсшибательнее другого, носятся по городу. То в спичках найдены бактерии рака, засланные иностранной разведкой (поковыряешь этакой спичкой в зубах — и концы!). То женщины под влиянием космических лучей вместо младенцев мужского пола рожают одних только девочек (в ущерб нашей армии!).

Уши прокурора полнились кровью, темной и маслянистой, как нефть. Распухшая шея свисла за воротник. Нужно, ох как нужно, доброе кровопускание, громкий публичный процесс, очищающий атмосферу!

Старуха зябко куталась в шаль, объединенную молью, вспоминала каких-то знакомых из допотопных времен:

— Да, бывает... Плужников Константин — кто бы мог подумать? — японский шпион. Мне уже потом пришло в голову: ведь этот Плужников еще в Женеве якшался с меньшевиками... Но случается и понапрасну, невиновных...

— Вам известно, мамаша, как танки идут в атаку? — хрипло спросил Глобов и встал. — Они давят вас на пути. Случается — своих же бойцов, ране-

ных. Танку объезжать нельзя. Если он будет сворачивать перед каждым раненым, его расстреляют в упор из противотанковых пушек. Он должен давить и давить!

Больное лицо прокурора было скорбно и торжественно. Екатерина Петровна невольно встала вслед за ним.

— Что ты мне, Володя, азбуку объясняешь? Наша цель многих жертв стоит. Но только ради нее, понимаешь, ради нее одной.

И едва дотянувшись, по-старушечьи, чмокнула его в почерневшую, надутую кровью щеку. словно и впрямь была мамой, той позабытой, неграмотной, настоящей, что перекрестила его в путь-дорогу, когда уходил из деревни.

Уже в калошах, прокурор подошел к карте. Красные тряпочки обвисли на булавах, покрылись чистой комнатной пылью. Видать, их давно никто не трогал: на корейском фронте было без перемен.

Троцкизм, чистейшей воды троцкизм! — восхитился Юрий Михайлович. Открытие превзошло самые лучшие ожидания. Да у них уже целое общество, у этих ребятишек. Мальчики и девочки занялись мировой революцией!

Катя, пока он читал программу, озираясь по сторонам. Ее подавляло это изобилие мебели, втиснутой в одну комнату вперемешку с книгами и картинками, густо облепившими стены. Здесь даже настоящая икона имелась. Не в переднем углу, а по-культурному — над радиоприемником, рядом с японской гравюрой.

— Я рад возможности ближе познакомиться с вами, Екатерина... Извините — не знаю по батюшке.

Катя с трудом вспомнила свое отчество, стеснительное, как новое платье, на которое все обращают внимание.

— Поговорим откровенно, Екатерина Григорьевна. Наш друг выбрал скользкий путь. Так и передайте ему вместе с этим трактатом.

— Сережа? Сергей Владимирович?

О, эти очкастые барышни-подростки с непомерно большими кисами в пышках и недоразвитой грудью! И эта первая тайная любовь на идейной основе! Самый подходящий материал для психологического эксперимента. Что-нибудь в духе старинной драмы — столкновение чувства и долга.

Он залюбовался фарфоровой группой, приютившейся на этажерке. Козлоногий сатир протер объятая ускользящей нимфе. Та, прикрыв руками фасад, оставила без внимания свой не менее соблазнительный тыл. Карлинский погладил сигареткой ее голубоватую спинку.

— Революция, партмаксимум, демократическая косоворотка покроя двадцатых годов, — он помахал тетрадью, что принесла ему Катя. Примерно в том же духе рассуждали троцкисты..

Катя была шокирована, причем тут эти враги народа, диверсанты, вредители? Таких надо уничтожать беспощадно, как делает Берия. А Сережина организация, покамест безымянная, борется за свободу, за настоящую советскую власть. Она гадливо вздрогнула, вспомнив карикатуру в газете, где Троцкий, или Тито, или еще какой продажный убийца в виде хвостатой крысы восседал со своими прихвостнями на горе из человеческих костей.

Но Юрий не стал уточнять, кто такие троцкисты. Гораздо забавнее было амплу ортодокса. Ему, всю жизнь защищавшему мошенников да спекулянтов, выступить вдруг адвокатом первого в мире государства!

Бодро вскочив с дивана, он принял меланхоличную позу, какую обычно употреблял на защите трудных клиентов. Отцеубийцы, казнокрады, растлители малолетних нуждаются в патетике, в риторической жестикуляции. Другое дело — мелкое воровство или пьяный дебош. Там невредно и пошутить, и подпустить перцу. Но крупное преступление требует сочувствия. Адвокат — это совесть преступников, оскорбленная правосудием.

— Если б я лично не знал дорогого Сергея Владимировича, не был другом его отца, наконец, не познакомился с вами, Екатерина Григорьевна, я бы, я бы...

Длинная тень Карлинского прыгала среди японских гравюр. Всплескивая руками, карабкалась на потолок. Опровергала.

— Нельзя допустить, чтобы... Всему миру известно. Либо — либо. Пусть. Марксизм, нигилизм, наплевизм. Фракция, акция. Левацкий загиб, правый уклон. Сугубо. Требуется жертв. Великой цели. Во имя. Цель, цель, цель.

— Для хорошей цели и средства нужны хорошие, — слабо сопротивлялась Катя.

Карлинский ожесточился: эта тихоня толком не знает, откуда дети родятся, а туда же, рассуждай, мнит себя Софьей Перовской.

— Средства хорошие? Мокрого места не останется ни от вас, ни от ваших средств... Да вы сами, дайте вам власть... Если я, например, захочу быть императором. Или, по крайней мере, взорву памятник Пушкину у Тверской бульвара... По головке погладите? Так не все ли мне равно, в какой кутузке сидеть? Реформаторы! Хорошего социализма желаете, свободного рабства?..

Вовремя спохватившись, он снова перешел на общедоступный язык:

— Объективно. Логика борьбы. Колесо истории. Агенты империализма. Вспять. Кто не с нами. Окружение. В одной стране. Поистине. Объективно.

Она подавленно молчала.

— Рьянцы, контр, ксизм-сизм-сизм.

— Мация-кация-зация-нация. Нцип-нцип.

Бектив.

Гуманюция, Pferd!

Катя была сражена. Еще Сережа предупреждал: «а то империалисты воспользуются». И вот они воспользовались — акулы капитала. Акулы и агенты, гангстеры и самураи. Изогнутые словно драконы, раздутые будто лягушки, со всех карикатур и плакатов, с японских злых картинок протянули руки, заманили в сети, окружили кольцом — враги. Кто их привел? Карлинский, все доказавший, как дважды два четыре (нация-мация, логия-могия), Сережа ли Владимирович, что заслал ее к этому типу со своей мелкобуржуазной программой? Или, может, она сама — объективно, не хотела, но, понимаете, объективно, предоставила платформу, проявила и допустила?

— Тетрадочку-то советую ликвидировать, — крикнул ей вдогонку Юрий Михайлович. — А еще поразмыслите на досуге, что вам дороже... Во имя... Требуется жертв... Эй! Екатерина Григорьевна!..

Он вышел на площадку и слушал, как стучат ее каблучки в гулком мраке подъезда. Девица — с норовом. Но по крайней мере прокурорский сыночек станет теперь осторожнее. Пускай не впутывает в азартные игры тех, кто сохраняет свободу. Свободу оригинального мышления.

Он свесился через перила и плюнул в пролет лестницы, похожей на колодец. Ответа не было долго. У него закружилась голова от этой чернеющей под ногами каменной глубины. Зато потом влажный отзвук донесся так отчетливо, что Юрий плюнул еще раз.

От спиртного Глобов наотрез отказался — болело сердце. Ему, как почетному гостю, можно было не пить. Среди всей этой развеселой, сугубо мужской компании он один сохранял ясность взгляда, похлебывая для приличия шипучую минеральную воду.

Следователь Аркадий Гаврилыч увлек его в угол. Под звяканье ножей и рюмок разговорец вышел интимный, любопытным ушам, если б таковые имелись, недоступный.

— Рабинович-то твой у нас теперь обитает. Переселили. Ну и глаз у тебя, прокурор!.. Снайпер! Робин Гуд! Тиль Уленшпигель!

Воровато оглянувшись, он почти уткнулся губами в прокурорскую шею:

— Помнишь намекал ты, еще в сентябре? Я сразу догадался. Копнули мы поглубже и говоря между нами, дельце получилось — пальчики оближешь.

— Неужели политика?

— Шутник ты, Владимир Петрович. Будто сам не знаешь... По твоим же зарубкам все начинали... Да если б он один!.. Тут, брат, масштаб государственный... Медицина!.. Чуешь? Все из этих... носатых... которые космополиты... Сплошняком!..

Он отскочил к столу, причитая по-бабьи:

— Насыщайтесь, ребята, не стесняйтесь! На то и мальчишник, чтоб самим угощаться!

Владимир Петрович решил досидеть до конца. Ему нравились эти ребята, сослуживцы Аркадия Гаврилыча, — с открытыми, как ладонь, лицами, с чистыми, как стеклышко, биографиями, с незапятнанной совестью. Добродушные мужчины, наводящие ужас, может быть, на полмира.

Среди них имелись таланты: рекордсмен по прыжкам в воду, другой поет, как в опере, третий художественно свистит. Все были в штатском (только Глобов в мундире), а он хорошо знал — здесь есть капитаны, майоры, даже два подполковника. Невидимая грозная армия сидела за праздничной трапезой.

Говорили о детях, о футболе. О летнем отпуске тоже. Кто хвалил Кисловодск, кто решительно предпочитал крымское побережье. Один из двух подполковников (тот, что художественно свистит) объявил о покупке «победы»:

— Послезавтра деньги вносить, а я все цвет выбираю: бежевая или серая.

Разгорелся спор. «Бежевая машина — элегантнее», — настаивал Аркадий Гаврилыч. Ему возражали, что бежевая «победа» — это слишком банально.

Владимира Петровича радовала непринужденность, царящая на вечеринке. Обычные сослуживцы говорят в основном о работе, выставляют друг перед другом свой идейно-политический уровень. А эти, наоборот, снаружи — самые домашние люди, политика же скрыта внутри, в глубине души, втайне — там, где у прочих смертных одни пороки и недостатки.

Как заблуждаются писаки из продажной западной прессы, представляющие этих людей в виде каких-то мрачных злодеев! Да это же милейший народ — остроумные собеседники, отличные семьянины. Многие из них, как рассказывал Скромных, любят в нерабочее время тихо удить рыбу, варят сами обед, мастерят детям игрушки. Один старший следователь по особо важным делам в часы отдыха вяжет перчатки, вышивает подушки, скатерки, утверждая, что рукоделие развивает нервную сеть. Но если потребуется!..

За окном ахнул салют. Будто вылетела пробка из очень большой бутылки. Пришлось и Владимиру Петровичу отведать шампанского. Он позволил себе всего один бокал.

— Я предлагаю тост! Чей вдохновляющий гений! Неуклонно вперед! На борьбу! От победы к победе!

Стол был похож на поле битвы. Вина кровоточили. Паштеты — изъезжены вдрызг, подобно военным дорогам в мокрую осеннюю пору. Сломанные скелеты селедок, окурки. Махровые и рыжие пятна.

Галдеж утихал по мере того, как пили. Другие во хмелю начинают кричать, буяннить, а эти — от рюмки к рюмке, от бутылки к бутылке — смолкали и цепенели. Глобову даже казалось, что с каждым глотком они постепенно трезвеют. Осовелым, сосредоточенным взглядом озирают свои ряды, прислушиваются.

Какой-то юнец, должно быть, простой лейтенантик, не выдержал: «А я вчера в “Метрополе” смотрел “Падение Берлина”...»

К нему, как к магниту, со всех концов потянулись шеи и уши. Выжидательно замерли.

— Очень понравилось! — взвизгнул оратор, напуганный общим вниманием. — Всем советую. Очень, очень...

И торопливо заткнул рот первой попавшейся семгой.

Наступила тишина. Даже чокаться перестали. Молча пили, молча закусывали. Так же молча они умрут, если будет нужно.

Следователь Аркадий Гаврилыч едва держался на стуле.

— Ты о ком спрашиваешь, прокурор? Какой такой Рабинович? Знать не знаю, ведать не ведаю никаких Рабиновичей. Что? Сам рассказывал? Тебе приснилось.

В глазах, иссеченных красными жилками, застыло искреннее недоумение.

— Молодцы, ребята! Бдительно пьете, — подмигнул ему Глобов.

Он ждал, что при этих словах вся команда встанет навтыяжку и звонким шепотом рывкнет: «Рады стараться!» Но все были пьяны, все были немые, как рыба, которую они ели среди других закусок.

Чтобы запутать следы, Катя шла пешком. Тетрадку несла в рукаве. Рвала листок за листочком. Бумажные крошки перетирала в ладонях и незаметно, по частям сыпала на мостовую.

За нею следили. Кто именно установить она не могла, сколько ни оглядывалась. Уж очень людно было вокруг. Народ валил, не разбирая дороги, на вечернее гулянье, на праздничную иллюминацию.

Город сегодня походил на препарат кровеносной системы. В школе, на уроке анатомии, показывали, как это устроено. Человек, перепиленный пополам, облупленный до последнего капилляра, состоит и множества ветвистых сосудов различной толщины и окраски.

Еще больше их было здесь освежено для вечерней потехи. По стекленеющим жилам домов, во все концы, пунктиром, струилась охлажденная кровь. Она горела преувеличенным, сверхэлектрическим светом.

Перед домом Сережи Катя остановилась. Перешла на другую сторону. Его окна темнели, как две могилы. Катя сложила пальцы крест-накрест, чтобы сдуру не накликал беды.

Но было поздно. Беда уже приключилась. Снял Юрий Михайлович трубку, позвонил куда надо, пока она бежала по лестнице, и в окнах стало темно. А, может, еще не звонил и Сережа спокойно спит, позабыв про несчастную Катю. Или гуляет с другими, обсуждая троцкистские планы. Все равно — ничем не поможешь. И она сама виновата: разбросала бумажки. По ним, как по следу, найдут его дом и квартиру.

Далеко, сзади уже началась погоня. Уже шарили по мостовой, искали под калошами, в лужах. Нагибались.

К завтраму все клочки будут собраны вместе, разлажены утюгом, склеены синдетиконом. И все двадцать четыре листка, неистребимых, как гидра, у которой головы отрастают, в синей обертке, разграфленные в косую линейку, и вся расписанная мелким почерком мелкобуржуазная программа Сережи. На виду. На суде. На справедливом, страшном суде.

Земля подпрыгнула. В небо, откинутае назад, взмыли чугунные трубы. Это прорвалась аорта, где-то за универмагом. Нужен жгут. Но перевязать не успели: лопнули другие сосуды. И разноцветная кровь брызнула фонтаном в зенит.

Под гром салюта Катя возвращалась домой. Она не задирала голову вверх, не считала залпы орудий. Каждый новый удар ей казался последним. Вот сейчас иссякнут артерии, вытекут дырявые вены и огромное рваное сердце задохнется в сердечном припадке. А оно все стучало и стучало, содрогая асфальт под ногами, озаряя лица прохожих то розовым, то зеленым сияньем.

Катя загадала: если стукнет пять раз, она пойдет к директору школы, или в райком, или куда-нибудь дальше. Завтра же. Тайком от Сережи спасет его, распутает шпионские сети, объяснит, что вышла ошибка, что Юрий Михайлович все врёт и общая польза главнее.

На четвертом ударе Катя еще надеялась — недотянет. Но сердце остановилось только на пятом. И сразу стало так тихо, что захотелось лечь в постель и наплакаться вволю. В конце концов, она имела на это право. Уж это-то право у нее никто не отнимет.

Глубокой ночью, когда погаснут огни и люди, утомленные праздником, заснут непробудно и сладко, на опустелые улицы города выходят двое в штатском. Прогуливаясь по участку, им отведенному свыше, они мечтают о чем-то или ведут вполголоса задушевный разговор. Одного зовут Витя, другого — Толя. Большого знать — нам не дано.

Толя говорит Вите:

— Послушай, Витя. Пора бы и канализацию приспособить к настоящему делу. Ведь столько тайного материала бесконтрольно уплывает по трубам!

Проекты, конспекты, любовные письма, черновики художественных произведений и даже беловики.

Рассказывают, писатель Гоголь, живший в девятнадцатом веке, сунул в печку свою поэму под названием «Мертвые души». До сих пор никому не известно, про что он там сочинял.

А теперь жечь — негде: центральное отопление. Теперь всякий норовит свои секреты разорвать на мелкие части и спустить в унитаз, чтоб полное инкогнито соблюсти. Это надо учесть.

Поставить, к примеру, под каждым домом особую драгу или сито и дворникам строго-настрога — изымать исписанную бумагу. Ну, а неподдельные нечистоты, пипифакс, газеты пускай уж плывут, куда им хочется, на свободу. «Пльви, мой челн, по воле волн...» Как ты считаешь, Витя, подойдет?

Витя задумчиво молчал, оглядывая пустую окрестность. Потом сказал мягко:

— Это не научный подход во всяком дерьме копать. Меня, откровенно говоря, Гоголь не занимает. А вот есть такой писатель по фамилии Герберт Уэлс. Ты «Борьбу миров» и «Человека-невидимку» читал?

— Нет, не читал, — грустно признался Толя.

— А я его «Машину времени» почти наизусть выучил. Однако в данный момент лично меня другое изобретенье волнует. Тоже научно-фантастическое. Аппарат-мыслескоп. Вроде твоей драги, только еще doskonальнее. Мысли и разные переживания угадывать. Чтобы даже тех, которые устно молчат и письменно не высказываются, контролировать автоматически. В любой час и на любом расстоянии. Здорово?

— Как ты его называешь, Витя?

— Аппарат-мыслескоп.

— Да, мыслескоп — это вещь.

Оба смолкли и погрузились в мечты. Но мечтали они согласованно, об одном. Вот о чем.

В наш век — век телевидения и радиолокации, в эпоху атомной энергии, направляемой к мирной цели, — хорошо бы в каждом районе завести свой мыслескоп. Сижу, например, я, вредоносный элемент, в своей малонаселенной квартире и заранее знаю, что все мои безыдейные мысли и преступные планы в районном мыслескопическом пункте будут видны, как в кино. И стараюсь я не думать ничего такого. Все о невинных вещах размышляю, насчет баб, да чтобы выпить или даже про то, как честно трудиться на благо народа. А самого так и подмывает о чем-нибудь недоступном подумать. Корчусь в своем кресле, арифметические задачки решаю, чтобы отвлечься.

Не тут-то было. Просочилась в голову гнилая идейка: как бы мне, думаю, научиться думать невидимо? Я ее — геометрией, дифференциалами, спряжением глагольных форм из церковнославянского языка. Стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» четыре раза подряд декламировал. А она, гадюка, так и лезет, разливается: как бы, думаю, еще одну революцию сделать? На этом самом месте меня цап-царап:

— Здравствуйте, гражданин. Вы это о чем четыре минуты семнадцать секунд тому назад рассуждали? Нам все известно. Если не верите, можем плёночку предъявить.

— Не отрекаюсь — виноват. Я — презренный наймит одной иностранной державы. С детских лет озабочен реставрацией капитализма и подпиливанием железнодорожных мостов...

Тишина! Двое в штатском ходят по городу. Двое в штатском. Медленно, степенно шествуют они по заснувшим улицам, заглядывают в помертвелые окна, подворотни, подъезды. Ни души.

Одного зовут Витя, а другого Толя. И мне боязно.

Глава VI

Несмотря на морозы, Екатерина Петровна каждый день — в подшитых валенках и в шапке-ушанке — наведывалась в прокуратуру. Ее частые визиты были неуместны. Но прямо сказать об этом Глобов не решался. После ареста Сережи старуха совсем очумела. Придиралась пуще прежнего. И секретарь, почтительно посмеиваясь, всякий раз докладывал:

— К вам, Владимир Петрович, опять эта пожилая особа — в валенках. Прикажете пропустить?

Бывшая теща, расхаживая по кабинету, бубнила:

— Не может быть. Не верю. Ни в шпионаж, ни в диверсию.

А Глобов — в который раз — допытывался:

— При обыске в его вещах нашла что-нибудь криминальное?

— Ничего, ничего...

От валенок по паркету расплзались грязные лужи. После ее ухода Владимир Петрович, заперев дверь на ключ, собственноручно вытирал пол тряпкой, принесенной из дому и спрятанной под шкафом. А потом набирал номер и спрашивал:

— Это ты, Аркадий Гаврилыч? Говорит Глобов. Что-нибудь новое есть?

Тот сухо отвечал:

— Пока ничего.

И вешал трубку. И теперь так бывало каждый день.

Каждый день, возвращаясь с работы, Юрий умывался и радовался. Видеть мыльную грязь было почему-то приятно. Это всегда так: чем грязнее вода стекает с тебя в умывальник, тем оно и приятнее. Вероятно, подобное чувство испытывают в минуту исповеди.

Если Марина придет, он сможет чистыми пальцами трогать ее лицо. Около самых губ. Надо еще намылить: вдруг сегодня придет.

Последние месяцы он все делал с расчетом. Отдаленная цель, приближаясь, поглощала его без остатка. Он жил, чтобы овладеть Мариной. Даже спал и ел с умыслом — подкрепиться для встречи. Чистил зубы, будто готовился к поцелуям. И день проходил за днем, чтобы дать ей время соскучиться и, помедлив для приличия, капитулировать.

Постучали. Он выждал, пока уймется дрожь в коленках, и распахнул дверь.

То была не Марина. Соседка, стараясь поглубже втиснуться в комнату, протягивала конверт и сладострастно шептала:

— Это вам девушка оставила. Молоденькая, словно бутончик.

А Марине будет лестно прослыть молоденькой девушкой, это надо ей передать, — соображал он, вскрывая письмо.

«Тов. Карлинский! Вы предательски донесли на Сергея Владимировича, а он все равно не троцкист, а честный революционер, а Вы — трус и подлец».

Юрий повертел письмецо, заглянул в конверт еще раз и, ничего не найдя больше, отложил для коллекции. При случае он расскажет Марине об этом эксперименте. Она будет очень смеяться.

Потом, как Понтий Пилат, Юрий вымыл руки. О Сереже, о Кате вспоминать ему не хотелось. Понтий, наверное, мало думал про Иисуса Христа, когда ходил умываться. У Понтия, может быть, тоже имелась своя цель, неизвестная евангелистам.

Насухо обтерев полотенцем каждый палец в отдельности, он повернулся к двери и топнул ногой:

— Где же вы, Марина Павловна? Я жду вас. Я — готов.

Следователь вышивал по канве. Узор для скатерки был выбран самый изысканный: по черному полю прихотливо извивались тюльпаны.

Когда приводили Сережу, он сворачивал шитье, подбирал разбросанное по всему столу мулине и, заперев рукоделие в сейф, начинал дружескую беседу. Все пока шло начистоту.

— Да, это вы тонко заметили. Ничего не скажешь. Такими мнениями наверху очень интересуются... А вот колхозы, с ними как быть? Здесь ведь тоже... Сами знаете...

Слушая про колхозы, он сокрушенно вздыхал. Иногда спорил, иногда соглашался, и они двигались дальше.

— Печать тоже, знаете, откровенно говоря... Сережа и в область печати вносил свои предложения, удивляясь тому, что его до сих пор не выпускают.

— Ну-с, молодой человек, — сказал наконец следователь, — взгляды ваши мы обсудили подробно. Хотелось бы еще уточнить — как вам удалось войти в контакт с иностранной разведкой.

Всем сочувственным видом он словно поощрял: не стесняйтесь. Чего уж скрывать? Все там будем. Экая важность!

— Оставьте глупые шутки, — побледнел Сережа. — Я еще не осужденный, я — подсудимый.

Следователь усмехнулся и раздвинул шторы. Дневной свет был так чист и прозрачен, что хотелось вдохнуть его всей грудью.

— Подойди сюда. Слышишь? Тебе говорю.

Сейчас ударит, — подумал Сережа, деревеня лицом.

— Глянь в окно!

Сережа увидел площадь, на которой бывал раньше, увидел вход в метро с нырявшими туда человечками, маленькие троллейбусы и автомобили, в которых тоже ехали люди, и каждый ехал, куда хотел. А сверху падал снег, живой настоящий снег.

— Вон они где — подсудимые. Видал — сколько?

Следователь показал на снующую под ними толпу. Потом погладил Сережу по стриженной голове и ласково пояснил:

— А ты, брат, уже не подсудимый. Ты — осужденный.

Хлопоты были бесполезны. Ему уже намекнули в одной высокой инстанции:

— Лучше не суйся. Тебе доверяют — можешь быть спокоен. А вступаться за него не советуем. Только себя запачкаешь. Забудь и рожай другого, пока способен. А этот — этот тебе не сын.

Но бабушка не унималась:

— Хлопочи! Добивайся! Или ты — не отец?

Отец! У других дети — как дети. Институты кончают. Аспирантуру. Даже у Скромных мальчишка — попался, так, по крайней мере, на краже. Отец его выпорол для острастки — и концы в воду. А это — надо же? Из десятилетки — в тюрьму — отцовское имя позорить. Да еще в такое время!

— Нет, мамаша, — ответил Глобов, глядя на ее мокрые валенки. — Идут большие аресты. Не могу.

— Что вы сказали? Боюсь? Не то слово. Разве я когда боялся? Меня все боялись... Я же — прокурор, поймите. Мне совесть не позволяет. Я — людей, может быть, менее виновных ежедневно...

— Чье это будущее? Мое? Обойдусь как-нибудь без будущего. Предатель — мне не сын.

— Оставьте. При чем здесь честное слово революционерки? Старомодно звучит, Екатерина Петровна. А мне достоверно известно...

— Э, нет. Это вы напрасно. Сына терять нелегко...

— Довольно попреков! Вы сами... А брата, брата забыли? Удрал за границу, так вы, небось...

— Я и раньше догадывался. Но если бы я знал, до какой степени...

— Да ты рехнулась, старуха! Не выдавал я его. Слышишь? Не выдавал.

— Отойди. Не хватайся руками. Руки, руки убери!

— Рассказывал я тебе — кто донес. Девочка из его же компании. Мне учитель шепнул. Историк. Пришла к директору... Вроде для совета... Тот хотел замять, но...

— Девочка, девочка, говорят тебе русским языком.

— Ну, знаешь. Это слишком. Ни девочек, ни мальчиков я еще не душил. А вот врагов...

— Замолчи, старая ведьма, пока тебя не посадили! После таких слов я не желаю больше...

— Вот и прекрасно. Двадцать пять лет опекала. Хватит с меня твоего контроля.

— И не надо. Не приходи.

Когда старуха ушла, Владимир Петрович передохнул несколько минут и вызвал секретаря. Небрежным тоном, каким обычно говорят о посторонних лицах, он распорядился:

— Пришлите уборщицу. Пусть оботрет паркет после этой гражданки. Наследила, как в конюшне, своими валенками.

Зазвонил телефон. Марина оставила карты, раскиданные в замысловатом пасьянсе, но трубку не сняла. Склонившись над аппаратом, она с любопытством слушала протяжные звонки.

Ей вдруг почудилось, что трубка легонько подпрыгивает. Вот-вот она сама собою соскочит с кривых рогулек, и раздраженный голос Карлинского загнусавит на столике: «Прячетесь? Подойти не желаете? Считаете наши отношения порванными?»

Возможность разоблачения была так близко, что Марина перешла в соседнюю комнату и оттуда, невидимая, в полной безопасности, внимала телефонным звонкам.

— Как он мучается, бедный, как он хочет меня! — думала она, торжествуя и вздрагивая при каждом новом трезвоне.

Уже третий месяц Юрий грозил уйти. Или она уступит — или они расстанутся. «Не желаю ни того, ни другого», — отнекивалась Марина. Тогда он дал ей две недели «на женские капризы» и удалился, донимая любовью, пугая одиночеством. Срок подходил к концу.

Телефон, прозвонив ее до мигрени, обиженно смолк, и Марина вернулась на кушетку — к своим картам и сомнениям. Они — совпадали. Были слезы, были письма, были дальние дороги и казенные дома, пара неизвестных вальетов обещала приятные хлопоты, но короли от нее уходили один за другим.

Марина не верила в карты, но была вынуждена признать, что с мужем в последнее время — и впрямь — все разладилось. Он перестал ей докучать своими беседами о крепкой семье и взаимопонимании между супругами. Целыми вечерами пропадал где-то и, казалось, забыл, что они — хоть и в ссоре — живут под одной крышей.

Тут еще Сережу посадили нехстати, и всех знакомых мужчин точно ветром сдуло. Даже Скромных носа не кажет.

Только пиковый король еще оставался при ней. Отпустить его так просто она не могла. Кто, если не он, щедро, по-королевски оценит ее красоту, и какая это красота без признаний и домогательств?

— Вы моя цель, мой бог, — любил повторять Юрий, доказывая, с присущей ему эрудицией, что высокая цель нуждается в средствах, хотя бы ее не достойных, и что Бог, которого, к сожалению, нет, очень страдал бы от одиночества, если б не придумал человека для поклонения себе и прочих услуг.

Да, это — верно. Разве женщина не самое одинокое существо в мире, разве есть что-нибудь горше ее одиночества?

Хлопнула парадная дверь, шаги мужа загромыхали в передней.

— Ты — дома? — удивился он через стенку, когда Марина откликнулась. — А мне деньги были нужны, хотел уж курьера послать. Так секретарь минут десять — подряд — сюда колотился. Никто не подошел к телефону.

— Я спала, — солгала она машинально и не слишком удачно, потому что муж хорошо знал, как чуток ее сон. Гораздо правдоподобнее было бы вернуться

недавно с прогулки или из магазина. Но Владимир Петрович не возразил и не остановился у входа в ее комнату, как это бывало раньше, а промаршировал мимо. Щелкнул замок в кабинете — муж заперся.

Только тут она поняла, что Карлинский ей не позвонит ни сегодня, ни завтра. Быть может, он уж не ждет ее больше. И даже не требует от нее никаких мерзких уступок.

Подойдя к зеркалу и увидав свое огорченное, стареющее с каждым днем лицо, она хотела было заплакать, но вовремя вспомнила, что этого делать нельзя: от слез морщинится кожа.

В ту ночь Глобов запил. Впрочем, после коньяка и водки он даже не опьянел нисколько, а лишь почувствовал в сердце такую нежность, что принялся шагать из угла в угол, бормоча колыбельную песенку:

Баю-баюшки-баю,
А я песенку спою.

Вот и все слова. Он мог себе это позволить. Его никто не видел, никто не слышал. Он был один.

Руки, сплетенные на груди, сами обняли его и понесли. Владимир Петрович любил и баюкал свое большое, несуразное туловище. Ему было уютно рядом с ним, таким родным и давно не мытым. Оно прижималось, благодарно сопело, уткнувшись в сорочку, покачиваясь в такт колыбельной.

Баю-баюшки-баю,
А я песенку спою.
А я песенку спою,
Баю-баюшки-баю.

Долго-долго, до бесконечности.

А на руках — будто девочка. Маленькая, неродившаяся дочка.

— Спи, милая, спи, моя умница, — уговаривал он, хлопая по тепленькой спинке. — Все спят. Играть тебе не с кем, Сережки нет дома, Сережка обманул нас, покинул. Он чужой, нам, Сережка. Он — бяка.

Чтобы она быстрее заснула, Глобов на мотив колыбельной начал переключать песни, какие знал. Все они были почему-то про войну, и он часто сбивался с напева, баюкая слишком размашисто, по-боевому.

Его прервали. Визгливый голос Марины доносился из коридора и мешал петь. Тогда он уложил девочку на диван, прикрыл кителем и, спрятав бутылки под стол, отпер кабинет.

По его виду Марина все поняла. Но оставаться одной в спальне казалось еще страшнее.

— Пусти, Володя. Я не могу заснуть. Мне страшно без тебя, — говорила она, дрожа от холода и унижения. А он стоял перед нею, лохматый, в нижнем белье, и загораживал проход своим огромным, разросшимся телом.

Марина его называла пупсиком и киской (а какая он — киска? он — не киска, а прокурор), просилась к нему на диван (ишь ты! уже пронюхала) и обещала не сердиться за шум, поднятый по всей квартире. Она брала его руки, тяжелые, как весла, и, распахнув халат, клала себе на грудь, прижимала к бедрам. Поборов отвращение, Марина гладила себя его руками, но они безучастно падали, как только их отпускали. А когда она попробовала столкнуть его с порога и силой войти в кабинет, Владимир Петрович просто шагнул в то место, где она суежилась и, отодвинув назад, запер дверь.

...Бутылки были целы. Но девочки под кителем не оказалось. Должно быть, он, убаюкивая слишком нежно, стиснул животик и раздавил ненароком. Или, что вероятней, ее похитили, пока он возился с Мариной.

Ну, конечно! Как он сразу не догадался? Это Марина все и подстроила. Она уже один раз убила его дочку и теперь снова к тому же вела, шлюха. Недаром ластилась, на диван просилась. Диван ей, видите ли, понадобился!

А когда он разгадал ее уловки, Марина подслала врачей-убийц во главе с самим Рабиновичем. Своими красотами она отвлекла внимание, а убийцы в белых халатах, растоптав священное знамя науки, тем временем, за его спиной, свершали черное дело.

В гардеробе кто-то сидел и не шевелился. Тогда Владимир Петрович снял со стены шашку — именное оружие настоящей кавказской закалки, поднесенное в знак уважения 4-м конногвардейским полком.

Гардероб поддался с двух ударов. Только стекла звенели, да щепки летели, да сыпалась со стен штукатурка. А враги, ускользнув обманным путем, попрятались в щели, окопались по всем углам.

Напрасно Марина кричала под дверь, чтоб он прекратил безобразие, грозила, что уйдет из дому, будет изменять, покончит с собой, донесет в парторганизацию про то, что он — алкоголик. Нет, не проведешь! Теперь твои приемы всему миру известны! И в радостном остервенении он рубил, колот, кромсал все, что попадалось под руку.

Ему не было жаль ни карельской березы, ни хрусталя, ни пуховых подушек. К чему эта жалкая утварь? Когда враги проникли в твой дом, нужно все истребить вокруг и самый дом стереть с лица земли с засевшими там врагами.

Отскочив от стены, шашка крепко ударила его по голове, разбила люстру. Но и во мраке, обливаясь кровью, он продолжал наносить удары в воздух, в пустоту — всюду, где они притаились.

Закончив труд, прокурор подошел к письменному столу, изрубленному вдоль и поперек. Там, у окна, белел в темноте чудом уцелевший бюст. Прокурор вложил шашку в ножны и отrapортовал:

— Хозяин! Враги бегут! Они убили мою дочь, украли сына. Жена предала меня, и мать отреклась. Но я стою перед тобою, израненный, оставленный всеми, и говорю: «Цель достигнута! Мы победили! Ты слышишь, Хозяин, — мы победили. Ты слышишь меня?»

Глава VII

Хозяин умер.

Сразу стало пустынно. Хотелось сесть и, подняв лицо к небу, завывать, как воют бездомные псы.

Они бродят по всей земле, потерявшие хозяев собаки, и нюхают воздух: тоскуют. Никогда не лают, а только рычат. С поджатым хвостом. А если виляют, то так — словно плачут.

Завидя человека, они отбегают в сторону и долго смотрят — не он ли? — но не подходят.

Они ждут, они всегда ждут и просят кого-то протяжным взглядом: О приди! Накорми! Ударь! Бей, сколько хочешь (не слишком сильно, пожалуйста). Но только приди!

И я верю: он придет, справедливый и строгий. Он заставит визжать от боли и прыгать на цепи. И ты подползешь к нему на брюхе, заглянешь в глаза и положишь ему на колени лохматую голову. А он будет хлопать по ней ладонью, и смеяться, и ворчать что-то успокоительное на мудреном хозяйском наречье. А когда он заснет, ты будешь стеречь его дом и брехать на всех проходящих...

Кое-где уже слышен скулеж:

— Давайте жить на свободе и резвиться, как волки.

Но я знаю, я слишком хорошо знаю, что они жрали раньше, эти продажные твари — пуделя, болонки и мопсы. И я не хочу свободы. Мне нужен Хозяин.

Ах, какая собачья тоска! Где утолю мой пронзительный, долгий, годами не кормленный голод?

Сколько их затеряно в мире, бездомных бродячих собак!

О, суки с продолговатыми глазами итальянских красавиц и тонкими кусачими мордами! О, злые, выдавшие виды, одинокие кобели!

Его обмыли, набальзамировали, положили на постамент.

Несметные толпы бежали к нему — проститься и посмотреть. Они вливались со всех улиц в сжатое домами пространство и там застревали.

Выход был один — туда, где в цветах, под караулом покоилось мертвое тело.

Но туда — не пускали: ждали распоряжений. А распоряжений все не было. Потому что тот, кто распоряжался, теперь лежал мертвый.

Площадь, утоптанная ногами, стала тесна. Она не вмещала столько желающих проститься и посмотреть. А люди все прибывали, их становилось больше и больше с каждой минутой. И когда открыли узкий проход, было уже поздно. Кто-то гаркнул, радуясь случаю продрать звонкую глотку:

— Ребята! Нас предали! Мы — в жопе!

И тут началась давка.

Окна завесили ковром и свет потушили, как требовала Марина. Зрение перешло в кончики пальцев. Юрию казалось, что они у него моргают.

Раздевая Марину, он мог созерцать всю сложность ее устройства: арки, абсиды, купола. Луковицы православных соборов, похожие на груди, и стрельчатые ворота, как заостренный книзу живот.

Но всюду преобладала гитара: плечи — талия — таз. Недаром гитару и скрипку так любил Пикассо: это женское тело в разрезе.

А желания — не было.

Юрий напомнил себе, с каким нетерпением влекся он к этой цели, на какие средства пускался ради нее... Желания — не было.

А вдруг совсем не получится? — встревожился он, понимая, что нельзя ему нервничать, что мужчина в таких случаях должен быть спокоен, как фокусник, от которого ожидают чудес. И пугаясь все больше и больше своего волнения, он хватался руками за абсиды, купола, арки, расположенные перед ним. Если не страсть, то хоть чуточку вождения пытался он выклянчить у своей немощной плоти, предавшей его так позорно, так глупо в самый последний момент.

Пружины кровати звенели семиструнной гитарой.

Юрий стиснул зубы и поднапрягся, будто выжимал гири по три пуда каждая. Наконец он вызвал в памяти пачку порнографических открыток, что с давних времен хранил в укромном местечке, и, перебирая мысленно самые непристойные, молился Богу: «Господи! Помоги!»

А женщина идеальной конструкции недвижно лежала рядом, предоставив ему как угодно мучиться над ней. Всей опустелой душой, всем изнывающим от бесплодной работы телом Юрий ненавидел ее — достигнутую и недоступную, — мечтая лишь о том, с каким наслаждением он выгонит ее вон, как только это будет возможно.

— Что, Юрий Михайлович, вы добились цели? — насмешливо спросила Марина. — Почему же вы медлите?

Юрий, не отвечая, зажмурился, хотя в полной темноте закрывать глаза было бесполезно.

Как это могло случиться, прокурор плохо понимал. Он стоял чинно, вместе со всеми, ожидая, когда будут пускать, и вдруг увидел, что толпа несет его, вращая по спирали — через площадь, к узкому, точно траншея, проходу.

Стоило добраться туда, и открывался прямой путь к центру города, где в цветах, на постаменте покоился усопший Хозяин. И прокурор по мере сил помогал тащить себя в этом направлении, хотя перебирать ногами в тесноте было так же затруднительно, как говорить с набитым ртом.

Но чем ближе и быстрее придвигался он к цели, тем больше его относило в сторону. А спираль, закручиваясь до предела, валила с ног.

Люди лезли друг через друга и, спотыкаясь, падали. На место одного опрокинутого вставало пятеро свежих, и борьба не затухала. Каждый стремился проникнуть в узкий, точно траншея, проход.

Прокурор был слишком солиден, чтобы принимать участие в свалке. Он не лез, не толкался, не произносил бранных слов. Но чья-то могучая рука, шириною во всю эту площадь, схватила его поперек тела, стиснула в кулаке, так что он едва не задохся, и, чуть приподняв над землей, пошла гвоздить направо и налево.

— Пусти! Мне больно! — стонал прокурор. — Здесь все свои. Они ни в чем не виноваты. Здесь много женщин, детей, есть даже инвалиды войны, что принесли тебе славу.

Но рука не выпускала его из цепких, намертво сжатых пальцев. Скорбя и ожесточаясь, она била и била им, как дубиной, воющую от боли толпу.

Спешить было некуда. Марина постояла у киоска, где продавались газеты, траурные, будто женщины с подведенными тушью ресницами. Потом, повернувшись спиной к надоедливой улице, разглядывала незажженную витрину косметического магазина.

Там, как в плохом зеркале, она увидела себя. По ней шагали люди, ехали троллейбусы, пронизанные флаконами духов и пирамидами разноцветного мыла.

— От всех этих средств красота портится, — думала она, поглядывая исподлобья на свое отражение. Но лицо ее, затуманенное стыдом и злобой, истоптанное тенями прохожих, было еще достаточно красиво.

— Завтра же испробую аргентинскую губную помаду, — решила Марина.

Ему удалось уйти. Под грузовую машину, через ограду бульвара, ободрав ноги, без шапки... Бульвар был пуст и просторен.

— Девочку, девочку задавили! — донеслось сзади. Там, в полутемном проулке, собрались успевшие выскользнуть. Они радовались, что легко отделались, поминали какую-то девочку.

— Задавили! Задавили!

— Это — не про мою. Моя — сама упала. Никто ее не давил. И стекла ей в очках раньше меня выбили, и возрастом она уж не девочка, а совершеннолетняя.

— Девочка, девочка, — упрямо твердили в толпе. — Задержать надо виновного... Под машину уполз... Чего рты разинули? Виновного, виноватого...

— Моя — сама виновата. Пускай не суется под ноги. Я сам упал. А виновных здесь нет. Без жертв не обойтись. Зато — во имя цели.

Идти дальше не было сил. Он прилег отдохнуть в теплый, как парное молоко, снег. По соседству, за сугробом, все еще искали виновного, толковали про неизвестную девочку:

— Может, это вредитель какой, диверсант, враг народа? Давку-то кто устроил? Милицию бы сюда! Следователя, прокурора! Судить таких надо! Судить!

Эпилог

Возле реки Колымы, за пригорком, мы копали канаву — Сережа, Рабинович и я.

Я прибыл в тот лагерь позже других, летом пятьдесят шестого. Повесть, для завершения которой не хватало лишь эпилога, стала известна в одной высокой инстанции. Подвела меня, как и следовало ожидать, упомянутая ранее драга, поставленная в канализационной трубе нашего дома. Черновики, что всякое утро я добросовестно пускал в унитаз, непосредственно поступали на стол к следователю Скромных. И хотя важное лицо, чей приказ я выполнил, может быть, недостаточно точно, к тому времени уже умерло и даже подвергалось переоценке со стороны широкой общественности, меня все-таки пригласили к дознанию за клевету, порнографию и разглашение государственной тайны.

Я не отпирался: улики были налицо. К тому же Владимир Петрович Глобов, вызванный в качестве свидетеля, представил документы, неопровержимо доказывающие полную мою виновность. Все, что я написал, как это установило следствие, являлось плодом злого умысла, праздного вымысла и большого воображения.

Особое нареkanie вызвал тот факт, что положительные герои (прокурор Глобов, адвокат Карлинский, домохозяйка Марина, двое в штатском и т. д.) не обрисованы здесь многогранно в их трудовой практике, а злопыхательски выставлены перед читателем нетипичными сторонами. Отрицательные же персонажи (детоубийца Рабинович, диверсант Сережа и его соучастница Катя, слишком поздно осознавшая свои ошибки и за это растоптанная ногами возмущенного народа), хоть и были наказаны по заслугам в моем клеветническом произведении, но не разоблачены до конца в своей реакционной основе.

Не рассчитывая на снисхождение, я просил только о том, чтобы мне разрешили, учтя критику, хотя б в эпилоге произвести некоторые коррективы, проливающие должный свет на моих персонажей. Мне позволили это сделать, но в процессе собственного перевоспитания, без отрыва от земляных работ, предусмотренных на Колыме.

Попав сюда, я вскоре пристроился к Сереже и Рабиновичу. Добиться, чтобы нас поселили в одной землянке и стерегли совместно, было нетрудно. После амнистии лагерь опустел. Нас, крупных преступников, здесь осталось каких-нибудь тысяч десять. Начальство смягчилось и разрешило создать ударную бригаду в составе трех человек, выделив нам персонального конвоира с хорошим автоматом.

Впрочем, в нашей бригаде по-ударному трудился один Сережа, полагавший, что необходимо способствовать приближению прекрасного будущего. Мы с Рабиновичем по старости лет от него отставали.

Сережа рьяно насаждал среди нас принципы новой морали. Пайку хлеба в 400 грамм, что я получал ежедневно, складывали с аналогичными пайками моих друзей. Всем этим хлебом заведовал у нас Рабинович, и, когда наступало время обеда, мы 1 кг 200 г делили на три части.

— Какая в этом польза? — удивлялся я. — Все равно каждый съедает свои 400 грамм и даже меньше, потому что Рабинович тайком откусывает по кусочку от чужих паек.

— Ничего, ничего! — подбадривал меня Сережа. — Недорога пайка, дорог принцип равного распределения продуктов.

Однажды, выгребая лопатой мерзлую землю, я улучил момент:

— Скажите, Сережа, что пишет из столицы ваш уважаемый папа?

Тот с напускным равнодушием передернул плечами:

— Мы не переписываемся, Сочинитель (меня за былую профессию прозвали здесь сочинителем). Бабушка сообщала как-то, что его повысили в должности.

— Вот видите, Сережа! — воскликнул я, радуясь поводу поговорить на волнующую меня тему. — Видите, каких высот достиг этот государственный деятель! Можете не сомневаться в моей искренности, я люблю вашего отца давней, неразделенной любовью. Мне дороги Емельян Пугачев, обернувшийся Александром Суворовым, грохот танков по булыжнику, бешеный рев радиорепродукторов — вся изысканная аляповатость героической нашей эпохи, что гордо шествует по земле, звеня орденами и медалями.

И если я, вопреки указаниям свыше, не защитил вашего папу своим щуплым телом, то, поверьте, я искал только случая свершить этот подвиг, а случай спасти вашего папу так и не вышел. Он сам всех спасал, сам всех преследовал. О, когда б его побивали камнями! С какой радостью я умер бы за него и вместо него! Но его не побивали...

Наверное, мои излияния были неприятны Сереже, и он сменил разговор:

— Да, Сочинитель. Отец считает меня вероотступником. А вот мачеха, Марина Павловна, кто бы мог подумать! Вчера от нее получил посылку.

— Узнаю вас, русские женщины! — восхитился я, глотая слюнки. — Со времен декабристок! Княгиня Волконская, Трубецкая. Помните — у Некрасова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». А в посылке-то что?

— Коробка шоколадных конфет с ликером.

И всё?

— Всё.

Делать было нечего. Хорошо хоть с ликером. Мы подарили нашему конвоиру половину посылки, а сами, не вылезая из канавы, устроили роскошный пикник.

Как всегда в минуты отдыха, нас развлекал Рабинович. С ним последнее время творилось что-то странное. Может быть, он помешался из-за врачей-убийц, которых признали невинными. По их делу его осудили, но реабилитировать почему-то забыли. А скорее всего он просто-напросто с обычной еврейской хитростью прикидывался ненормальным, памятуя, что к душевнобольным относятся у нас снисходительно и частенько выпускают в сумасшедший дом.

Во всяком случае речи его с некоторых пор стали темны и невразумительны. Он все рассуждал о Боге, об истории, о каких-то целях и средствах. Иногда получалось очень смешно.

Вот и сейчас, доев последнюю шоколадку, он вытащил из-под ватника забавную железку, покрытую ржавчиной и землей.

— Нет, гражданин Сочинитель, как вам это нравится? — обратился он ко мне, бессмысленно улыбаясь.

— Археологическая находка! — обрадовался Сережа и тут же зафантазировал: — Здесь путешествовал в каком-нибудь шестнадцатом веке или даже раньше никому не известный Ермак. Быть может, — до самой Америки! опередил Христофора Колумба! Надо — в музей, под стекло, для поддержания приоритета!

— Приоритет несомненен, однако начальству сдать придется, — соображал я. — Все-таки холодное оружие.

Это был меч, наполовину изъеденный сыростью, с массивной рукояткой в виде распятия.

— Как вам нравится? — вопрошал Рабинович. — Бога, обратите внимание, куда присобачили. К орудию смертоубийства — держалка! Скажете — нет? Был целью, а сделался средством. Чтобы хвататься сподручнее. А меч — в обратную сторону: был средством, стал целью. Переменялись местами. Ай-я-яй! Где теперь Бог, где меч? В извечной мерзлоте и меч, и Бог.

— Оставьте в покое ваши религиозные пережитки, — сказал я и опасливо отодвинулся (видно, недаром попал сюда этот гражданин Рабинович). — Всему миру известно — никакого Бога нет. Не в Бога нужно верить, а в диалектику.

Как он тут всполошился, этот хилый еврей, обстриженный под машинку, в рваных опорках, замазанных грязью, с ржавым мечом под мышкой

— Да я что? Разве ж я спорю? Никогда в жизни!

Схватив меч в обе руки, он поднял его, как зонтик, и затыкал прямо в небо, нависшее над нашей канавой.

— Во имя Бога! С помощью Бога! Взамен Бога! Против Бога! — приговаривал он, будто натуральный безумец. — И вот Бога нет. Осталась одна диалектика. Скорее для новой цели куйте новый меч!

Я хотел ему возразить, как вдруг солдат, что предохранял нас от побега, проснулся на своем пригорке и закричал:

— Эй, вы, в канаве! Довольно чесать языком! Работать пора!

Мы дружно взялись за лопаты.